С. Аксаков

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В третий том собраний сочинений входят литературные и театральные воспоминания писателя, а также история знакомства писателя с Гоголем.

Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 т.
М., Правда, 1966; (библиотека «Огонек»)
Том 3. — 408 с. — с. 3–142.

-
- 1812 год
- 1815 год
- 1816 год
- 1820 и 1821 годы
- 1825 и 1826 годы
- 1826 год
- ПРИМЕЧАНИЯ
- notes
  - Note1
  - Note2
  - Note3
  - Note4
  - Note5
  - Note6
  - Note7
  - Note8
  - Note9
  - Note10
  - Note11
  - Note12
  - Note13
  - Note14
  - Note15
  - Note16
  - Note17
  - Note18
  - Note19
  - Note20
  - Note21
  - Note22
  - Note23

- Note24
- Note25
- Note26
- Note27
- Note28
- Note29
- Note30
- Note31
- Note32
- Note33
- Note34
- Note35
- Note36
- Note37
- Note38
- Note39
- Note40
- Note41
- Note42
- Note43

Благодаря трудам наших библиографов и биографов, трудам, принимаемым читающею публикою с видимым участием, мы имеем теперь довольно важных сведений о писателях второстепенных, которые начинали приходить у нас в забвение, потому что они имели достоинства, относительные к своему времени. Кроме того, что все такие биографические сведения и разыскания любопытны, полезны и даже необходимы, как материал для истории нашей литературы, — в этом внимании, в этих знаках уважения к памяти второстепенных писателей выражается чувство благодарности, чувство справедливости к людям, более или менее даровитым, но не отмеченным таким ярким талантом, который, оставя блестящий след за собою, долго не приходит в забвение между потомками. Писатели второстепенные приготовляют поприще для писателей первоклассных, для великих писателей, которые не могли бы явиться, если б предшествующие им литературные деятели не приготовили им материала для выражения творческих созданий, — среды, в которой возможно уже проявленье великого таланта. Всякий кладет свой камень при построении здания народной литературы; велики или малы эти камни, скрываются ли внутри стен, погребены ли в подземных сводах, красуются ли на гордом куполе, — все равно, труды всех почтенны и достойны благодарных воспоминаний.

Желая по возможности содействовать успеху важного, по моему убеждению, дела, я хочу присоединить к нему и мою скудную долю. Я нисколько не беру на себя обязанности библиографа или биографа, я не собираю сведений из устных и печатных, разбросанных по журналам и брошюркам: я стану рассказывать только то, что видел и слышал сам при моих встречах с разными литераторами. Моя цель — доставить материал для биографа. Я расскажу также о тех впечатлениях, которые производили на общество тогдашние литературные явления именно в том круге, в котором я жил, или, правильнее сказать, куда я заглядывал до 1826 года. С этого времени рассказы мои будут подробнее, последовательнее и точнее.

1812 год

В начале 1812 года, зимою, Яков Емельянович Шушерин познакомил меня в Москве с некоторыми литераторами, и прежде всех с Сергеем Николаевичем Глинкою, издававшим тогда «Русский вестник». Шушерин звал издателя «русским мужичком». Его оригинальная личность, его патриотическое участие в московских событиях 1812 года гораздо замечательнее его многотомных сочинений; говорить о нем с полной свободою еще не время. Скажу только, что я нашел тогда в Сергее Николаевиче Глинке, несмотря на его странности в приемах, привычках и суждениях, — самого доброго, прямого, открытого и правдивого человека. Русское направление было для него главным делом в жизни; проповедовать его он считал своим гражданским долгом, ибо такое проповедование он находил полезным для государства, которого был гражданином. Это слово часто употреблялось Глинкой в разговорах. Он никогда не принадлежал к числу исключительных, так называемых и тогда, славянофилов. Воспитанник кадетского корпуса, товарищ и приятель Озерова, он был такой же горячий любитель французского языка и французской литературы, как Озеров, знал хорошо этот язык, помнил множество стихов и прозы лучших французских писателей и любил читать их наизусть. Он был живого, даже торопливого нрава: весь состоял из порывов. Он думал, говорил и писал, так сказать, *на ходу*, сентенциями, а потому все, им написанное, несмотря на природную даровитость автора, не выдерживало и тогда моего юношеского разбора и суда. Во всех его сочинениях, без исключения, везде вырывались горячие слова, живые выражения, даже строки, полные внутреннего чувства; они производили сначала впечатление, но повторенные сочинителем несколько раз, иногда некстати, сделавшись стереотипными, казенными фразами, — они начинали уже опошливаться и надоедать людям разборчивым, а потому и взыскательным. Я не знаю, кто-то сказал, вероятно после нашествия французов, и сказал довольно верно, что «Глинка был бы недурен, если б у него не было соуса из *веры, верности и донцов*,[1] который и хорош для винегрета, а он обливает им все блюда». Впрочем, в отдаленных углах России, особенно после великого двенадцатого года, особенно на Дону, Глинка пользовался большим авторитетом. Успех его «Русского вестника» и еще более блистательный, хотя непродолжительный, успех его пансиона для донцов служат тому неоспоримым доказательством. Доброта души С. Н. Глинки была известна его знакомым: он не мог видеть бедного человека, не

поделившись всем, что имел, забывая свое собственное положение и не думая о будущем, отчего, несмотря на значительный иногда прилив денег, всегда нуждался в них… Но, повторяю, рано еще говорить обо всем набело. — Сергей Николаевич Глинка очень меня полюбил, особенно за мое русское направление. Он захотел познакомить меня с Николаем Михайловичем Шатровым, который был тогда в славе — и в светском обществе и в кругу московских литераторов — за стихотворение свое «Мысли россиянина при гробе Екатерины Великой»,[2] в котором точно очень много было сильных стихов: они казались смелыми и удобоприлагались к современной эпохе. Еще более славился Шатров подражаниями или переложениями псалмов Давида, которые положительно имеют большое достоинство. Шатров был сын пленного персиянина *Шатра*, вывезенного мальчиком в Россию около 1727 года. Шатр воспитался в доме Михаила Афанасьевича Матюшкина, командовавшего русскими войсками в персидском походе; у него же в доме вырос и воспитался Н. М. Шатров, которого потом определили в службу в Москве, где он успел познакомиться и сблизиться со многими знатными людьми и особенно с другом Новикова и покровителем знаний и талантов, богатым барином П. А. Татищевым, у которого в доме и жил. Умом, дельностью по службе и талантом, а всего более покровительством Татищева, Шатров скоро проложил себе дорогу. Дослужившись до чина, который давал ему право на потомственное дворянство, он просил себе грамоты и герба. Император Павел I приказал ему составить герб, поместя в нем золотую лиру в голубом поле.[3]

Шатров не имел научного образования, но русскую грамоту знал твердо, и язык у него везде правилен и благозвучен. Он был немаловажного о себе мнения, и в то же время человек веселый и любезный по-своему; в молодости он, вероятно, был очень хорош собою; к обществу высшего, или, вернее сказать, лучшего, круга новых литераторов он не принадлежал, по крайней мере я никогда не видал его ни у Кокошкина, ни у других. Шатров обласкал меня и между прочим спросил, знаком ли я с знаменитым русским писателем Николаем Петровичем Николевым? Должно признаться, что я не имел никакого понятия о знаменитости Николева; слыхал только от Шушерина об его трагедии «Сорена и Замир», напечатанной в «Российском феатре» и не попавшей в «Творения Николева», которую обыкновенно называли просто «Сорена». Шушерин говаривал мне, что в ней есть славные места, но что после Крюковского и Озерова ее читать нельзя, потому что язык слишком устарел. Хотя я очень

помнил два стиха из одной рукописной сатиры кн. Горчакова:

[Рукописные сатиры кн. Горчакова пользовались в восьмисотых годах большою известностью и особенным уважением в славянофильском кругу Шишкова. Кажется, они никогда не были напечатаны. В них сильно и резко выставлялись тогдашние злоупотребления. Описывая роскошные пиры чиновников, наворовавших себе богатство от продовольствия солдат, сочинитель говорит:

Меж тем как воин, к ним пришедший на клюке
И через них одних не в лавровом венке,
Простря под оконью исстреленну десницу,
За счастье чтит достать от их стола крупицу.

Не менее знаменательны и следующие два стиха, которые говорит один из общественных грабителей:

И, шествуя путем воров без остановки,
На шее с лентою, избавлюсь от веревки.

Да простит мне тень благородного сочинителя этих стихов, если память моя сколько-нибудь их исказила!]

Гуситы, Попугай предпочтены Сорене,
И Коцебятина одна у нас на сцене, —

из которых я должен был заключить, что «Сорена» имеет высокое достоинство; но на ту пору я все это забыл и откровенно отвечал, что не имею понятия о Николеве. Шатров удивился, посмотрел на меня с улыбкою сожаления и сказал: «Это оттого, что вы всегда жили в Петербурге, а там не умеют и не хотят ценить московских талантов. Я познакомлю вас с Николевым и попрошу его прочесть что-нибудь из новой его трагедии «Малек-Адель», заимствованной из «Матильды»;[4] эта трагедия лучше всех его прежних сочинений и написана с таким огнем, как будто ее писал молодой человек. Поедемте завтра же поклониться нашему славному слепцу». Я очень был рад такому предложению. Шатров прочел нам два новых псалма и какое-то патриотическое стихотворение; псалмами я восхищался от искреннего сердца.

Тот же день Шушерин, чтобы приготовить мне хороший прием, съездил к Николеву, разумеется, расхвалил меня и мое

чтение и, к сожалению, наговорил лишнего о моем восхищении и благоговении к таланту хозяина. Шушерин, однако, успел меня предупредить о том и дать мне более подробное понятие о «Сорене», даже прочел некоторые места наизусть. Он рассказал мне, что Николев любит похвалы и что мне, как очень молодому (мне было двадцать лет) и неизвестному литератору, только что вступающему на это поприще (я переводил тогда «Филоктета»), необходимо высказать мое удивление к великим творениям Николева. Это меня порасхолодило, но делать было нечего. Я приехал на другой день поутру к Шатрову, и мы вместе отправились к слепому поэту, который желал казаться зрячим и очень не любил, если кто-нибудь давал ему чувствовать, что знает его слепоту. Об этом предупредил меня Шатров. Николев принял нас в своем кабинете; он был одет парадно и неопрятно, чего по слепоте своей не мог видеть, но чего терпеть не мог. Он даже хвалился всегда свежестью своего белья и чистотою в комнатах, тогда как, напротив, все было грязно и в беспорядке: разумеется, никто не выводил его из приятного заблуждения. Николев сидел в креслах у письменного стола; возле него стоял мальчик. Отворяя нам дверь, человек громко сказал: «Николай Михайлович и господин Аксаков». Николев встал, очень свободно пошел нам навстречу, протянул мне руку, приветствовал очень ласково, запросто поздоровался с Шатровым и, пригласив нас сесть, воротился к своим креслам и сел в них так ловко, что если б я не был предупрежден, то не догадался бы, что он слеп, тем более, что глаза его были совершенно ясны. Хозяин был очень любезен; но в этой любезности слышалось снисхождение знаменитого писателя, который с высоты своего величия благодушно и приветливо обращается к простым смертным. Шатров без всяких церемоний называл его в глаза «великим Николевым», и он принимал такие слова как должную и привычную дань, все равно, как будто называли его Николаем Петровичем. Я кое-как подлаживался к Шатрову, и если б Николев не был слеп, то мог бы заметить по моему смущенному лицу, что я говорил не искренно. Впрочем, едва ли так. Тут самоуверенность была так сильна, что и смущение и молчание было бы принято за выражение того благоговения, с которым обыкновенный человек приближается в первый раз к великому человеку. Разговор вертелся на сочинениях хозяина; Шатров управлял разговором и лгал на меня бессовестно, разумеется, насчет моего благоговенья к сочиненьям Николева. Когда речь дошла до новой трагедии хозяина, до «Малек-Аделя», то я сказал, что был бы очень счастлив, если б мог ее прочесть или что-нибудь из нее услышать. Николев отвечал, что «кроме писца, никто не имел его трагедии в

своих руках, но что он сам, зная ее наизусть, играет некоторые сцены из нее друзьям своим, потому что драматическое сочинение надобно *играть*, а не читать». Шатров начал просить, чтобы *бессмертный* Николев сыграл какую-нибудь сцену. Я присоединил мою убедительную просьбу, и Николев согласился. Он вышел на средину комнаты и продекламировал целую, очень большую сцену, играя все лица разными голосами, предварительно называя их по именам, переходя с места на место и принимая приличное их характерам положение. Несмотря на такие комические приемы, несмотря на мимику и жесты, доводимые до крайнего излишества, мне показалось тогда так много силы в стихах и огня в выраженных чувствах, что я на первый раз был увлечен и превозносил искренними похвалами игру и сочинение хозяина. Впоследствии я слышал еще несколько сцен, которые уже не производили на меня такого впечатления; но из всего слышанного я вывел заключение, что в трагедии много сильных мест, а в чувствах Малек-Аделя много пылкости. У меня врезались в памяти четыре стиха, которые говорит, кажется, Матильда, может быть и кто-нибудь другой, описывая скачущего на коне Малек-Аделя:

> Блистал * конь бел под ним, как снег Атлантских гор,
> Стрела летяща — бег, свеща горяща — взор,
> Дыханье — дым и огнь, грудь и копыта — камень,
> На нем — Малек-Адель, или сражений пламень.[5]

Что сделалось с этой трагедией, равно как и со всеми рукописными сочинениями Николева, умершего в 1815 году, — ничего не знаю.[6]

Из приведенных мною четырех сильных стихов можно заключить, что вся трагедия написана в таком же лирическом, восторженном духе.

Продекламировав сцену, Николев, совершенно как зрячий, воротился к своим креслам и сел на них. Шатров не преминул назвать его неподражаемым актером и писателем. Чтение или игра Николева была самая напыщенная, неестественная, певучая декламация, не совсем, однако, похожая на обыкновенное тогда чтение нараспев трагических стихов; что же касается до огня, до пылу, то его было гораздо более во внешнем выражении, чем во внутреннем чувстве. Тогда немногие понимали это различие; но сила, стремительность, поражающие и увлекающие сначала всякого слушателя, были в его чтении. Николев был очень доволен собою и говорил, что давно так хорошо не играл; он

сделался веселее, разговорчивее и ласковее; заставил меня прочесть один монолог из переводимого мною тогда «Филоктета», похвалил и перевод и чтение и, услышав от Шушерина, что я перевел стихами комедию Мольера «Школа мужей», потребовал, чтоб я непременно прочел ему свой перевод. Потом пригласил меня приезжать, как можно чаще, к нему, обещая прочесть мне много кой-чего «важного и забавного»; потом, взяв слово, что завтра мы приедем к нему обедать, отпустил нас с Шатровым, осыпав меня множеством любезностей на русском и даже на французском языке.

Шатров не был доволен впечатлением, произведенным на меня Николевым: похвалы мои казались ему холодны, а замечания, откровенно высказанные мною Шатрову, — непозволительными. Ему было дико, что двадцатилетний юноша, ничего еще не сделавший в литературе, смеет судить и критиковать писателя, которого он (Шатров) и весь кружок его считает великим писателем. Он высказал мне довольно прямо свои мысли и назвал мои суждения «самонадеянной дерзостью молодого человека»; но впоследствии я убедился, что Шатров немножко прикидывался передо мною, как перед новичком, из каких причин — не знаю. Да и возможно ли, чтобы человек, писавший тогда прекрасным языком, даже и теперь сохраняющим свое достоинство, не чувствовал устарелости, неестественности, пухлости, а иногда и уродливости языка Николева?.. Шушерин понимал это совершенно. Шатров, однако, сказал мне, в виде наставления, что и великие люди имеют свои странности, иногда доходящие до смешного. «Так и Николев, — продолжал он, — имеет странное желание казаться зрячим и любит говорить о чистоте своего платья и опрятности своих комнат, тогда как мошенники-слуги одевают его в черное белье, нечищенное платье и содержат его комнаты засоренными и грязными; вот завтра будем мы обедать у него, и я вас предупреждаю, что кушанье будет приготовлено жирно и даже вкусно, но все будет подано неопрятно, особенно столовое белье. Николев любит, чтоб его гости кушали много и хвалили кушанья: от первого можно себя уволить, а второе необходимо». Шатров простился со мною с чувством своего достоинства и превосходства. Я рассказал все Шушерину. Он смеялся и уверял, что Николай Михайлович «задает мне тоны», что он сам забавляется над смешными причудами Николева и даже над его слепотою и что со временем все это я сам увижу. Шушерин не предупредил меня, что Николев обедает в два часа с половиной; я приехал нарочно пораньше, то есть в три часа, и все-таки заставил полчаса себя дожидаться. Это было мне очень досадно и очень меня смутило. Я думал, что мы

только двое с Шатровым будем обедать у Николева, но я нашел там и Шушерина, и С. Н. Глинку, и Н. И. Ильина, и еще несколько человек, вовсе мне незнакомых. Предсказания Шатрова совершенно оправдались: обед был жирен, вкусен и неопрятен; все комнаты были в беспорядке. Хозяин посадил меня возле себя, ласкал и потчевал радушно. Вина было довольно, и как Николев наливал мне из своей бутылки, то вино оказалось отличное, а у других гостей посредственное; даже подаваемые вина особо были разного достоинства: хозяину подавали одно, а гостям другое. Впоследствии я слышал от Шатрова, что Николев до того верил своей прислуге, особенно своему любимцу камердинеру и дворецкому, что не было возможности самым близким людям убедить его в неряшестве его слуг и плутнях его любимца. Николев, кроме поэзии, имел претензию быть и гастрономом, и политиком, и светским человеком, чем, без сомнения, он и был в свое время. За обедом и помину не было об литературе; говорили о Наполеоне, об его тайных замыслах, о городских новостях и преимущественно о скандалезных историях. Хозяин представлял любезного весельчака: смеялся и заставлял смеяться, рассказывая множество нескромных анекдотов «веселого прошедшего времени», которые неприятно было слышать из уст слепого старика. Вообще можно было заметить, что Николев некогда живал в знатном кругу и был известен при дворе. Н. И. Ильин сидел подле меня, и я возобновил с ним петербургское знакомство. В обращении Ильина была всегда какая-то важная чопорность, которая именно тогда особенно кинулась мне в глаза, равно как и его высокое о себе мнение; со мною он был благосклонно ласков и звал меня к себе. На другом конце стола председательствовал Шатров; по поручению хозяина он всех угощал и, зная наизусть его нрав, старался поддержать шумную веселость гостей; Шушерин усердно помогал ему. Когда встали из-за стола, Николев взял меня под руку и вместе со мною отправился в гостиную; мы шли впереди всех. Хозяин спросил меня: «Не правда ли, что у меня довольно весело?» Я, разумеется, отвечал утвердительно и горячо. «Нынче пропадает уменье жить весело», — сказал с сожалением весьма довольный собою хозяин. Я понял, что Николеву нужен вожак, и довольно искусно исполнил это дело, то есть вел его так, как будто мы шли вместе. Он сел на диван, а гости расселись около него; подали кофе, ром и ликер. Я заметил, что все были довольно веселы. Разговор не замедлил склониться к литературе, или, лучше сказать, Шатров не замедлил круто своротить его на эту дорогу, обратившись с просьбою, от имени всех, чтобы великий Николев, бесконечно разнообразный в своих творениях, прочел что-нибудь из своих

эротических и сатирических сочинений. Хозяин не замедлил согласиться, начал читать и читал очень много, основываясь на том, что я, как новичок в Москве и в литературе, ничего еще не слыхивал из его заповедных мелочей и шалостей.

Ничего из слышанного мною не сохранилось в моей памяти; помню только, что Николев прочел всем известную тогда пародию на Тредьяковского, которую я знал наизусть еще в Петербурге.

Аз Тредьяковский, строгий *пишта*,
Красного слога борзый *писец*,
Сиречь чья стопно мысль грановита —
Что же бы в рифму? Русский певец.
Брякну стихами песни похвальны
Ратничкам русским, аки руссак:
Прочь скоротечно, мысли печальны!
Вас не изволю слушать никак; и пр.

[Эта пародия была напечатана в 4-м томе «Творений» Николева (1797), под названьем: «Ода 1-я Российским солдатам на взятие крепости Очакова сего 1796 года, декабря 6-го, сочиненная от лица некоего древнего Российского пииты»; она начинается так: «Аз чудопевец» и пр.

Год поставлен неверно. Очаков взят в 1788 году. *(Поздн. прим. сочинителя)*.]

Тут только я узнал, что она принадлежала Николеву. Часа через два Николев лег спать и гости разъехались. Через несколько дней я был у Николева один поутру, согласно его приглашению и моему обещанию. Мальчик от него не отходил, часто исполняя разные его приказания. Вероятно, он давно служил при своем господине: он был так наметан, что по одному знаку без слов отгадывал, что ему нужно, и всегда стоял против своего барина. Разговор недолго держался на посторонних предметах и скоро перешел к сочинениям хозяина. Читая какую-то пьесу наизусть, он запнулся, сделал знак рукой мальчику, и тот сейчас бросился к шкафу, достал из него и принес, кажется, пять больших книг, в лист, в переплете, но рукописных: это были сочинения Николева. [7]

Он попросил меня, чтобы я в таком-то томе отыскал такую-то пиесу и начал бы ее читать вслух. Едва я дошел до того места, где поэт остановился, как он вспомнил забытый стих и продолжал

уже декламировать сам. Подобное обстоятельство, случившееся еще несколько раз, конечно изобличало слепоту Николева; но он и тут продолжал прежнюю комедию: заглядывал ко мне в книгу, как будто справляясь, не ошибся ли я, потом брал ее в руки и, как будто по книге, продолжал чтение начатой мною пиесы. Были ошибки, пожалуй, смешные, но скорее жалкие. В стихотворениях Николева было множество примечаний, разумеется писанных прозою; их все читал уже я, и автор слушал с наслаждением. Он придавал великую важность своим примечаниям и весьма наивно говорил, что тут скрыта бездна знаний и учености и что одни примечания могли бы составить великую славу их сочинителю. О новейших писателях по большей части он говорил с насмешкою или презрением. Мне очень хотелось выслушать всего «Малек-Аделя», но автор не стал читать, откладывая это до другого времени. Впоследствии, бывая довольно часто у Николева, я слышал несколько сцен из «Малек-Аделя», но всегда при других посетителях, наедине же он никогда не читал мне своей трагедии. Вероятно, Николеву одного меня или вообще одного слушателя было мало, потому что в присутствии Шатрова и Глинки он охотно разыгрывал некоторые сцены; всей пиесы я никогда не слыхал, а потому и содержания ее хорошенько не знаю. — Предсказания Шушерина оправдались: Шатров мало-помалу начал при мне подшучивать над Николевым и особенно над его старанием скрывать свою слепоту. Конечно, эта странная слабость, казалось бы несвойственная умному человеку, как-то уменьшала то сожаление, которое чувствуется всеми к человеку, лишенному зрения. Обман являлся так явен, что иногда нельзя было не улыбнуться; но Шатров наводил Николева наглым образом на смешные промахи и ставил его в карикатурные положения, даже до неприличия. Это были совершенно школьничьи шутки, которые меня никогда не забавляли, а также и С. Н. Глинку; но Шушерин очень ими потешался и даже подстрекал Шатрова к разным выдумкам. Что за мудреное создание человек! Шатров любил Николева, как близкого родного, ухаживал за ним во время его болезни, развлекал во время скуки, видел в нем великого писателя, прибавляя по секрету, что у него много и дряни, — и тот же Шатров ругался над слепотой Николева и задыхался от сдержанного смеха, когда слепец натыкался на подставленный ему стул и больно ушибался. [8]

Я вторично встретился с Н. И. Ильиным, кажется, на литературном вечере у Ф. Ф. Кокошкина. Ильин с благосклонною важностью опять пригласил меня к себе, и я на другой день

поехал к нему; жил он ужасно далеко, где-то за Красными воротами, в деревянном ветхом домишке, помнится, своей сестры. Он помещался очень тесно, в небольшом чулане, который с важностью называл своим «рабочим кабинетом». Все обличало большой недостаток состояния и в то же время ярко и карикатурно прикрывалось великолепием обращения. По важности приемов и тона можно было принять Ильина за богатого вельможу, а ветхость шлафрока и всей обстановки обличали в нем бедняка. Мне сейчас пришел в голову испанский дворянин Дон Ранудо де Калибрадос, выведенный в комедии Коцебу, который, три дня не евши, ковырял в зубах. Вспоминая теперь об этих людях, я нахожу, что Ильин и Николев разыгрывали одну и ту же комедию: слепой представлял зрячего, а бедняк — знатного богача. Ильин принял меня, однако, с большою вежливостью и даже ласкою, не теряя, впрочем, своего высокого достоинства. У этого господина было такое же огромное самолюбие, как у Шатрова и Николева, но он умел его скрывать в Петербурге. Я видел его по крайней мере двадцать раз у Шушерина, и не более, как за год; тогда это был совсем другой человек. Ну, подумал я, как разбухает авторское самолюбие в Москве. Впрочем, это было справедливо только в отношении к трем сочинителям, сейчас мною названным, принадлежавшим к особому кругу людей с отсталыми понятиями. Сценические успехи Ильина вскружили ему голову. В самом деле, «Лиза, или Торжество благодарности» и «Рекрутский набор» — пьесы точно с некоторым достоинством, особенно последняя, — производили при своем появлении, и в Москве и в Петербурге, такое сильное впечатление, даже восторг, какого не бывало до тех пор, как мне сказывали старожилы-театралы. Я видел много раз эти пиесы на сцене, когда они были уже не новость, и могу засвидетельствовать, что публика и плакала навзрыд и хлопала до неистовства: в Петербурге поменьше, в Москве побольше. Говорят, вызов на сцену авторов начался с Ильина.[9]

В последнее время он ничего уже замечательного не писал и отдыхал на лаврах. Самолюбие Н. И. Ильина довольно выражается тем, что он впоследствии одну из своих ничтожных театральных пьесок печатно посвятил «Великому своему учителю Фон-Визину». В этот раз я заметил в Ильине еще другую слабость, которая и тогда уже развивалась в нем наравне с авторским самолюбием, а впоследствии выросла до нелепых и гибельных размеров, — слабость к знати. Он беспрестанно упоминал о своем близком знакомстве с знатными людьми: графы, князья, генералы и действительные тайные советники не сходили у него с языка. У

князя Юсупова он ужинал, у княгини N. N. завтракал, у графа Шереметева обедал, у графини N. N. был на бале, с его высокопревосходительством ездил на охоту, со всеми короткий друг — только у него было и речей. Мне стало это гадко, и когда он предложил мне свое покровительство, чтоб познакомить меня в некоторых знатных домах, то я с горячностью молодости выразительно ему отвечал, что ищу знакомства людей, отмеченных дарами божьими, а не знатностью. Ильин осудил мою выходку и сказал что-то вроде наставления. Когда я собирался уехать, благосклонный хозяин спросил меня, куда я еду; я отвечал, что домой, то есть в дом, нанимаемый моим семейством в Старой Конюшенной. — «В чем вы приехали?» — «На извозчике», — отвечал я. «Ну, так я вас довезу. Мне самому надобно ехать в Старую Конюшенную к княгине N. N., я у нее обедаю», — сказал Ильин; свистнул и, видя, что никто не идет, принялся звонить в колокольчик; наконец, пришел старый слуга, очень бедно одетый, и хозяин величественно сказал: «Прикажи кучеру Федору заложить мне возок или лучше сани, потому что дорога дурна (тут последовало молчание): в корень — Оленя, на пристяжку — Куницу». Лакей отвечал, что лошади давно готовы. Хозяин попросил позволения одеться и вышел; одевался очень долго; я проклинал себя, что не отказался от его предложения. Наконец пришел одетый с большой изысканностью и претензией на щегольство, считавший себя в то же время красавцем, ужасно надоевший мне Н. И. Ильин, и мы вышли на крыльцо. Увы! Олень и Куница оказались такими клячами, что мы едва дотащились до Старой Конюшенной, а барин беспрестанно приказывал сдерживать лошадей по причине дурной дороги, которая в самом деле разрушалась от весеннего солнца. В другой раз я уже не был у Ильина, несмотря на скорый его визит и учтивые приглашения.

Я поспешил рассказать Шушерину мое свидание с Ильиным и думал удивить его; но Шушерин, посмеявшись, сказал мне, что он давно знает эти грешки за Н. И. и что в Москве они пошли в гору. Вообще Шушерин был очень умен и знал насквозь всех своих знакомых; он любил посмеяться над слабостями своего ближнего за глаза и даже в глаза, но так искусно, что ни с кем не ссорился; он умел держать себя прилично в разных слоях общества. Я бывал с ним вместе на литературных вечерах у Ф. Ф. Кокошкина, у которого обыкновенно собирались Качановский, Мерзляков и Ф. Ф. Иванов, сочинитель драматических пиес «За богом молитва, а за царем служба не пропадают» и «Не бывать фате» — пиес, которые в свое время имели значительный успех. Иванов слыл большим остряком и в самом деле был остроумный и веселый собеседник. Приезжали иногда гр. Салтыков, Вельяшев-Волынцев,

Смирнов, зять Мерзлякова, и другие; Шушерин вел себя с большим тактом со всеми. Кокошкин иногда читал на этих вечерах свой перевод Мольерова «Мизантропа» и просил замечаний. Замечания Каченовского всегда были очень дельны, но умеренны, а Мерзляков, бывавший по вечерам обыкновенно веселее, часто нападал беспощадно на переводчика. Один раз Кокошкин, выведенный из терпенья его беспрестанными придирками, положил рукопись на стол, очень важно сложил руки и сказал: «Да помилуйте, Алексей Федорыч, предоставьте же переводчику пользоваться иногда *стихотворной вольностью*». — «Стихотворная вольность состоит в том, чтоб писать хорошо», — возразил Мерзляков, произнося слова своим пермским выговором на о. Все громко засмеялись и одобрили такой ответ. Но едва ли кто больше Мерзлякова пользовался так называемой стихотворной вольностью, в которой он так резко отказывал Кокошкину — особенно в своих переводах Тасса, из которых отрывки он также иногда читывал у Кокошкина… и никто, кроме Каченовского, не делал ему никаких замечаний, да и те были весьма снисходительны. Я тут же сообщал потихоньку Шушерину на ухо мои критические заметки и один раз попросил у него совета: «Не сказать ли мне моих замечаний самому Мерзлякову?» Но Шушерин удержал меня, сказав: «Ну, полно, любезный друг, что тебе за охота? Ведь ты еще юноша, а это знаменитый муж, профессор словесности. Разумей про себя и не делай сам того, что критикуешь у Мерзлякова». Я послушался Шушерина и, конечно, сделал хорошо. Нет, однако, никакого сомнения, что перевод Кокошкина много обязан своим достоинством, правильностью и (по-тогдашнему) чистотою языка строгим замечаниям Мерзлякова.

Шушерин присутствовал также при чтении моего перевода Мольеровой комедии «Школа мужей», которую я должен был, наконец, прочесть Николеву, по настоятельному его требованию. На чтение были приглашены Шатров и Глинка. Я приехал вместе с Шушериным, который обратился с убедительнейшею просьбою ко всем присутствующим, чтобы они меня не щадили и прогнали *сквозь строй критических розог*. «Это будет тебе полезно, — сказал он мне, отведя меня в сторону, — ты же любишь сам критиковать, так попробуй на себе; я ведь нарочно подбил Николева, чтоб он потребовал этого чтения». Я был озадачен, и смущен, и даже не совсем доволен: но Шушерина это забавляло, и он трунил надо мной в начале чтения. Я читал первый акт неудачно, так что Шушерин выходил из терпенья. «Что с тобой сделалось? — говорил он мне. — Неужели ты струсил? Как тебе не стыдно, ведь это все шутка!» На втором акте я ободрился и дочитал хорошо

свой перевод. Замечаний делали много, которыми я потом и воспользовался, но по окончании пиесы очень хвалили и перевод и чтение. Я успокоился и был очень благодарен Шушерину.

Между тем кончил я свой перевод «Филоктета». Прочитав его сначала у Кокошкина, прочел и Николеву в присутствии Глинки и Шатрова. Тогда не скупы были на похвалы, и, право, смешно вспомнить, как они хвалили меня за этот перевод! Даже замечаний делали мало, отговариваясь тем, что нечего замечать.

Остальное время пребывания моего в Москве до 15 июня было исключительно поглощено двумя спектаклями, в которых играл Шушерин, о чем я довольно говорил в моих о нем воспоминаниях. Частые свидания с Кокошкиным у директора театра А. А. Майкова, на репетициях в самом театре, которые, однако, я слушал часто издали или стоя за другими, потому что Шушерин не пускал меня на авансцену, свидания на предварительных частых пробах у Кокошкина в доме, где я довольно наслушался, как хозяин ставил на роль Энея молодого дебютанта Дубровского, вовсе не имевшего таланта и физических сил для сцены, — сблизили меня с Кокошкиным, несмотря на несходство наших лет и свойств.

Во время представления «Дидоны» я увидел Ильина в креслах; он не садился на свое место, а картинно стоял у самого оркестра, прислонясь к бенуару, у всех на виду, беспрестанно кланяясь с знакомою знатью и разговаривая во время антрактов с проходившими мимо него московскими джентльменами из первых рядов кресел. Изредка он как-то величественно аплодировал Шушерину. Я сидел от него в двух шагах и слышал, с каким достоинством и лаконизмом отвечал он одному молодому франту, разумеется, не князю и не графу, который подскочил к нему с словами: «Что это Шушерин все дрожит: это нынче не в моде?» — «Хорошее всегда в моде», — и закричал браво Шушерину.

По окончании трагедии многочисленная публика при громе общих рукоплесканий вызвала Шушерина, но дальновидный и расчетливый старик вышел, ведя с собою Борисову и Дубровского… Он хорошо знал, как это будет приятно директору и особенно Кокошкину, благосклонностью которого очень дорожил.

Этим ограничиваются мои литературные и театральные воспоминания 1812 года.

1815 год

Глубокой осенью 1815 года приехали мы в Москву. Я был в ней проездом в 1814 году, всего на одни сутки, и у меня осталось в памяти бесконечное, печальное пожарище. Но теперь Москва представляла другое, более отрадное зрелище. Конечно, следы исполинского пожара еще не были изглажены: огромные обгорелые каменные дома, кое-как прикрытые старым железом, окна, заделанные деревянными досками с нарисованными на них рамами и стеклами, с красными и закоптелыми полосами и пятнами по стенам, печальными знаками пламени, за три года вылетавшего из всех отверстий здания, пустыри с обгорелыми фундаментами и печами, заросшие густою травою, искрещенные прямыми тропинками, проложенными и протоптанными расчетливыми пешеходами, самая новизна, свежесть множества деревянных, прекрасной новейшей архитектуры домов, только что отстроенных или строящихся, — все красноречиво говорило о недавнем посещении Европы… Но не грустно было смотреть на возникающую из пепла Москву. Она сгорела не даром: пал великий завоеватель, освобождена явно благословлявшая нас, а втайне уже замышлявшая козни Европа, имя русского народа стояло на высшей степени славы, и не грустно, а весело было смотреть на шумно строящуюся, неприбранную, заваленную строительными припасами Москву.

Мы наняли также новенький дом, только что отделанный, купца Чернова на Молчановке. Я поспешил возобновить свои литературные знакомства. Шушерина и Николева уже не было на свете; Николев умер в этом же году, 24 января.[10]

С Ильиным я видался редко, а с Шатровым еще реже; с Кокошкиным же и с Сер. Ник. Глинкою, напротив, видался я очень часто. При первом взгляде мне кинулось в глаза какое-то особенное выражение в лице Сер. Ник. Глинки, которого я прежде не замечал: как бы след прожитого необычайного времени; это выражение сохранилось навсегда. Глинка, при первой встрече со мною, напомнил мне наше последнее свиданье и прощанье в июне 1812 года. Я тогда был так еще молод, что все справедливые опасения Глинки насчет возникающей военной грозы и страшных сил Наполеона казались мне преувеличенными, а угрозы взять Москву и Петербург — намерением запугать нас и заставить заключить невыгодный для нас мир. Так думал не один я; были люди постарше и поопытнее меня, разумевшие, казалось, военные и политические дела, которые говорили, что у Наполеона

закружилась голова, что он затеял дело невозможное, что это мечта, гасконада. Конечно, действительность показала недальновидность этих людей; но давно ли мы все считали высадку англичан и французов в Крым, в таких гигантских размерах, совершенно невозможною?.. Итак, должно отдать справедливость провидению Глинки: он и в июне 1812 года не надеялся, чтобы мы могли отразить военную силу — военною же силою. Он надеялся на народную войну, на твердость правительства и не ошибся. Много наслушался я любопытнейших рассказов от С. Н. Глинки, который сам был действующим лицом в этом великом событии; долго, при каждом свидании, я упрашивал его рассказать еще что-нибудь,[11] но все имеет свой конец, и незаметно перешли мы с ним от событий громадных к мелким делам, житейским и литературным.

В 1812 году, когда император Александр приезжал в Москву, Сергей Николаевич Глинка получил орден св. Владимира 4-й степени «за любовь к отечеству, доказанную сочинениями и деяниями», как сказано было в высочайшем рескрипте. Я сам читал этот рескрипт: он особенно замечателен потому, что был написан на листочке самой простой почтовой бумаги и написан рукою А. С. Шишкова. Это обстоятельство вполне выражает время: видно, тогда было не до того, чтобы соблюдать обыкновенные приличия и формы. В настоящее время Глинка имел довольно большой пансион для детей генералов и офицеров донского казачьего войска и продолжал издавать «Русский вестник» с большим успехом.

У Н. И. Ильина, который стал еще важнее от каких-то своих успехов по службе, я нашел, совершенно неожиданно, рукописный экземпляр переведенного мною «Филоктета», списанный рукою Шушерина собственно для себя. Перед французами он дал этот экземпляр прочесть Ильину, который не слыхал моего перевода. В суматохе бегства из Москвы оба забыли об этой рукописи. Шушерин вскоре умер, и она осталась у Ильина, который вспомнил о ней только тогда, когда я сказал, что у меня нет чернового списка перевода «Филоктета», а посланный экземпляр в цензуру, перед нашествием неприятеля, пропал без вести. Я обрадовался моей находке, и хотя Ильин не уступил мне своего списка, но позволил снять копию. Я немедленно напечатал свой перевод *в пользу бедных* … но, увы, бедным пришлось бы не выручить своих денег, если б трагедия была напечатана на их счет; всего разошлось экземпляров семьдесят, а остальные сгнили в кладовых у Ширяева[12] или проданы на вес для изделий из папье-маше.

Кокошкин мне очень обрадовался, и я ему. Деревянный дом

его на Арбате сгорел, и он купил себе огромный каменный дом у Арбатских ворот, где Мерзляков читал свои публичные лекции о русской литературе и где впоследствии было столько прекрасных благородных спектаклей. В Кокошкине незаметно было, что он пережил такую великую историческую годину: об ней и речи не было. Он весело встретил меня литературными и театральными новостями, точно как будто ничего не случилось важного с тех пор, как мы не видались. «Милый, как я вам рад! — восклицал Кокошкин, обнимая меня при первом нашем свидании, — как кстати вы приехали; Алексей Федорович у меня в зале читает публичные лекции, и, конечно, ничего подобного Москва не слыхивала; я решился поставить на сцену моего «Мизантропа» (он всегда называл его *мой*), я теперь весь погружен в репетиции — работы по горло. Ваши советы будут мне полезны (разумеется, это была учтивость). Кажется, я могу вам поручиться за два главные персонажа: за Мочалова[13] в Крутоне и за Львову-Синецкую в Прелестиной. Ах, да вы и не знаете ее! Какой я нашел талант для Москвы — и где же? В Рязани, куда я уезжал от французов. Синецкой девятнадцать лет, собою прелесть, страстно любит театр, умна и готова учиться с утра до вечера. Поедемте же завтра на репетицию, и я вам ее представлю; впрочем, она не служит еще при театре, а играет в первый раз, как дилетантка. Без нее, конечно, я не дал бы «Мизантропа». Что касается до Мочалова, то я сам не ожидал, чтоб он был так хорош в Крутоне. Вы оставили Мочалова в двенадцатом году весьма плохим актером, но у него вдруг открылся талант, и он сделался любимцем публики; талант у него точно есть, и большой, но искусства, искусства мало. Я боялся двух вещей: во-первых, что он не выучит роли (это его большой порок) и станет перевирать стихи, и, во-вторых, что он будет дурен во французском кафтане; но ему так хотелось дать «Мизантропа» себе в бенефис, что он заранее выпросил у меня пьесу и выучил роль претвердо. Я заставляю его репетировать во французском кафтане со шпагой и треугольной шляпой — и вы удивитесь, как он ловко себя держит; с его прекрасной наружностью и талантом он произведет большой эффект… но чего мне это стоило и стоит, этого никто, кроме вас, не оценит! Ну, да завтра вы все увидите». Хотя я сам очень любил театр, но не мог не улыбаться, слушая Кокошкина, который все это говорил с таким театральным жаром, как будто он играл роль человека, помешанного на любви к театру. Вообще в словах Кокошкина слышна была напыщенность, декламация, и это отнимало искренность у его речи, касающейся даже предмета, страстно им любимого.

Мне удалось слышать только одну лекцию Мерзлякова,

именно ту, в которой он разбирал «Дмитрия Донского», и разбирал очень строго и справедливо. Несмотря на убедительные и ясные доказательства профессора, почти все слушатели нашли такой разбор любимой трагедии пристрастным и недоброжелательным, даже осердились за него. Стихи Озерова, после Сумарокова и Княжнина, так обрадовали публику, что она, восхитившись сначала, продолжала семь лет безотчетно ими восхищаться, с благодарностью вспоминая первое впечатление, — и вдруг, публично с кафедры ученый педант — чем был в глазах публики всякий профессор — смеет называть стихи по большей части дрянными, а всю трагедию — нелепостью… Волнение было сильное. Едва ли кто-нибудь из слушателей был так доволен, даже обрадован этой лекцией, как я, потому что лекция очень совпадала с жестоким разбором «Дмитрия Донского», написанным А. С. Шишковым; разбор этот я считал почти во всем справедливым. После чтения был завтрак у Кокошкина, и он, по моей просьбе, познакомил меня с Мерзляковым; я с горячностью высказал ему мое сочувствие и уважение и сообщил о критике Шишкова. В этот же день я видел в первый и последний раз Батюшкова.

На репетицию «Мизантропа» я не попал, по каким-то особенным обстоятельствам; но первое представление в бенефис Мочалову, бывшее 15 декабря, я видел и не мог забыть этого спектакля. Он произвел на меня самое приятное и глубокое впечатление: Мочалов и Синецкая доставили мне истинное наслаждение, особенно Мочалов, потому что Синецкая была еще слишком неопытна, а роль требовала искусной и опытной актрисы. Впрочем, ее молодость, прекрасная наружность, благородство во всех движениях, необыкновенная чистота произношения обещали в ней со временем замечательную артистку (что и оправдалось), и публика приняла ее с громким и общим одобрением. Мочалов же был так хорош во всей пиесе, что я лучше его не видел актера в роли Мизантропа. Тогда же, по окончании пиесы, я поспешил с ним познакомиться; я нашел в нем очень доброго человека, любящего свое дело, но понимающего его только по инстинкту. В душе у него было много чувства и огня.

Через несколько дней я уехал в Петербург.

1816 год

В этом году, во время трехмесячного моего пребывания в Петербурге, когда я имел счастие так близко узнать Державина, познакомился я самым оригинальным образом с М. Н. Загоскиным, о котором до тех пор не имел никакого понятия. Живя вместе с полковником П. П. Мартыновым в Гарновском доме, я находился постоянно в кругу Измайловских офицеров; с некоторыми из них я был знаком очень дружески, откровенно рассказывал им все, о чем говорил с Гаврилом Романовичем Державиным, и, кстати, о всех моих литературных убеждениях. Тогда еще пользовалась успехом на театре комедия кн. Шаховского «Липецкие воды». Я приехал из Москвы, сильно восстановленный против этой комедии; ее успех на сцене, которого она, конечно, вполне не стоила, еще более раздражил меня. В откровенных разговорах с Державиным я жестоко критиковал «Липецкие воды». Старик соглашался иногда с моими замечаниями и сказал мне, чтоб я написал обстоятельный разбор комедии кн. Шаховского. Я написал и прочел Гавриле Романовичу в присутствии его домашних и некоторых обыкновенных его посетителей; хозяин во многом был одного мнения со мной; но двое из гостей горячо заступились за кн. Шаховского и в опровержение моих критических замечаний ссылались на комедию Загоскина «Комедия против комедии, или Урок волокитам», которой я еще не знал. Разумеется, я прочел мою критику и в Гарновском доме, не пропустив случая побранить Загоскина, которого в глаза не видывал и комедии которого не читал. Хозяин мой, Мартынов, очень забавлялся моими выходками против Загоскина, близкого ему родственника, и, чтоб еще более потешиться моей горячностью, отыскал завалившуюся где-то у него «Комедию против комедии», подаренную ему от сочинителя с родственной надписью, и дал мне прочесть. Все общество было против меня, и я, по моей вспыльчивости, очень рассердился за офицерскую антикритику и даже насмешки. Я стал читать вслух пиесу Загоскина с предубеждением, даже с положительным намерением найти ее дурною. Бессовестно придирался к каждому слову и, взбешенный моими антагонистами, наконец бросил под стол комедию и сказал, что сочинитель глуп. Мартынов хохотал до упаду. — Чрез несколько дней, будучи нездоров, я сидел один дома; вдруг с шумом растворилась дверь, хозяин мой, Мартынов, почти вбежал в комнату, ведя за руку плотного молодого человека, белого, румяного, с прекрасными вьющимися каштановыми волосами и

золотыми очками на носу. С неудержимой веселостью и смехом Мартынов подвел ко мне неизвестного мне господина и сказал: «Это моя роденька, Михайла Николаич Загоскин» — и, обратясь к Загоскину, продолжал: «А это мой оренбургский земляк, С. Т. Аксаков, который на днях, читая нам твою комедию, плюнул на нее, бросил под стол и сказал, что автор глуп». Мартынов, очень довольный такой остроумной шуткой, принялся хохотать; но мы с сочинителем комедии стояли, как окаменелые, друг против друга, каждый с протянутою рукою — и, конечно, были смешны. Загоскин, очень конфузливый и вспыльчивый от природы, покраснел, как вареный рак, я также, но я опомнился первый и, кое-как собравшись с духом, сказал: «Ваша родня, а мой приятель Павел Петрович заранее придумал эту неприличную шутку, чтобы поссорить нас при первом свидании и чтобы позабавиться нашей литературной схваткой». Загоскин что-то пробормотал, и мы кое-как пожали друг другу руки; но неугомонный Мартынов начал уверять, что все это правда. Я рассердился и весьма серьезно сказал ему несколько жестких слов, которые уняли и образумили его; он в свою очередь стал извиняться и уверять, что он только хотел пошутить и что он очень желает, чтобы мы были приятелями. Через несколько минут, после нескольких пустых фраз, Загоскин, ехавший куда-то на вечер, ушел. Я крепко поссорился с Мартыновым, даже хотел переехать от него на другую квартиру, и он едва упросил меня остаться. Надобно сказать, что Мартынов, встретившись нечаянно с Загоскиным на улице близ Гарновского дома, вспомнив недавно происходившее чтение его комедии, захотел потешиться и затащил к себе своего родственника почти насильно, уверив, что имеет сообщить ему что-то нужное. Можно судить, каков был сюрприз бедного Загоскина, который не слыхивал даже моего имени! Я не имел духу сделать визит ему и уехал из Петербурга, более с ним не видавшись.

В эти же три месяца 1816 года, столь счастливые для меня на знакомства с замечательными людьми, увиделся я в первый раз с кн. А. А. Шаховским, и увиделся весьма неприятно. Я упомянул об этом мимоходом, говоря о знакомстве с Державиным, а теперь должен коснуться подробнее и отчасти повторить уже сказанное мною. Дело состояло в том, что князь Шаховской, несмотря на свое детское добродушие, любил выказывать себя едким остряком и вообще был способен к крайнему предубеждению. Он не благоволил к Ф. Ф. Кокошкину, не благоволил к его переводу Мольерова «Мизантропа»; поморщился, что М. И. Вальберг выпросила себе эту пьесу в бенефис, и сделал прекислую гримасу, когда я приехал к нему с рукописью и письмом, в котором

Кокошкин предоставлял мне свое право — поставить «Мизантропа» на петербургской сцене. Мне рассказывал покойный Я. Г. Брянский, находившийся свидетелем первого моего свидания с кн. Шаховским и бывший со мною впоследствии в приязненных отношениях, что Шаховской, принявший меня весьма сухо и отделавшийся от меня в несколько минут, после моего ухода разразился целым потоком насмешек и брани на мою невинную личность. Шаховского трудно передразнить,[14] еще труднее передать на бумаге его смешное бормотанье, какое-то особенное пришепетыванье, его горячность и скороговорку, которая иногда доходила до такого глотанья слов, что нельзя было понять, что он говорит, а потому я буду приводить его разговоры обыкновенным образом, кроме некоторых слов, что, конечно, моим читателям, не знавшим лично кн. Шаховского, не передаст его речи. — Только что я вышел за дверь (сказывал Брянский), кн. Шаховской вскочил с кресел, хватил себя ладонью по лысине (это был его обыкновенный прием, выражение вспышки), забормотал, затрещал и запищал своим в высшей степени фальшивым голосом: «Это что еще? дуляк Кокоскин переложил глупейшим образом на лусские нравы несчастного Мольера и прислал к нам из Москвы какого-то дуляка ставить свой перевод, как будто бы я без него не умел этого сделать! Этот Кокоскин, этот накрахмаленный галстук, который не умеет разинуть рта по-человечески, хочет учить меня и всех петербургских артистов, через своего длуга, как надобно разыграть Мольерову пиесу! Да из этого надобно сделать водевиль в следующий бенефис Марьи Ивановны. Хорошо! Мы позовем его поверенного на лепетицию. Разумеется, его никто не будет слушать; зато он нас посмешит».[15]

Вместо того, чтоб пригласить меня, как это водится, прочесть пиесу артистам, в ней играющим, кн. Шаховской сам читал им перевод «Мизантропа», и тот же Брянский сказывал мне, что они не могли удержаться от смеху, слушая Шаховского, который, браня Кокошкина почти после каждого стиха, до того горячился и до того был смешон, что никто не понимал ни одного слова из пиесы и что, наконец, Шаховской сам расхохотался… Так и кончилась считка на первом акте. — Меня пригласили на первую репетицию. Актеры читали скоро и довольно твердо, но заглядывали иногда в роли. Мне показалось, что многое понято не так и не так выражается, как следует, а потому по выслушании пиесы я весьма скромно сказал о том кн. Шаховскому, прибавя, что Ф. Ф. Кокошкин, мастерское чтение и сценический талант которого, а также знание театрального искусства признаны всеми,

не один раз читал мне свой перевод именно с тем намерением, чтоб я мог прочесть его петербургским артистам и чтоб они из моего чтения поняли, чего желает в их игре переводчик «Мизантропа». Я заключил свою речь просьбою позволить мне прочесть пиесу гг. участвующим актерам и актрисам. Кн. Шаховской, саркастически прищуря свои маленькие глаза и нюхая табак своим огромным носом, или, лучше сказать, нюхая кончики своих пальцев, вымаранных когда-то в табаке, отвечал мне, что труд мой был бы напрасен, что петербургские артисты не станут играть по-московски, да и времени свободного не имеют выслушать мою декламацию; что теперь они еще не знают ролей; что меня пригласят на настоящую репетицию и что мне предоставляется право остановить артиста и сделать ему замечание, если я не буду доволен его игрой. Все это было говорено таким тоном и с таким выражением, что мне не трудно было понять, какую смешную и глупую роль играю я сам в этой комедии. Но горячая любовь к театру и желание оправдать доверенность Кокошкина заставили меня еще раз приехать на репетицию. Это была предпоследняя репетиция, разумеется без ролей. Кн. Шаховской сказал актерам, чтоб играли во весь голос, как на настоящем представлении пиесы. Я заранее решился никого не останавливать, да это и неудобно на главной репетиции и совершенно нарушило бы ход и лад комедии; но после третьего акта я решительно сказал кн. Шаховскому, что пиеса совсем идет не так, как желает переводчик, что главные лица: Крутон (Альсест) и Прелестина (Солимена) чрезвычайно холодны и не одушевляют своих ролей; что Брянский груб, а не горяч и что в нем не слышно пламенной и чувствительной души Альсеста; что Валберхова тоже холодна; что Сосницкий отвратительно карикатурен… Кн. Шаховской как будто почувствовал правду моих слов, как будто вдруг проснулись в нем добросовестность и любовь к искусству, и он вдруг заговорил совершенно другим, уже добродушным тоном. «Послушайте, — сказал он, — говоля по истине и по плавде, пиеса идет нехолошо, да ей и нельзя идти холошо. Друг мой Федор Федорович (*друг* в подобных случаях значил у Шаховского бранное слово) сам об этом посталался. Я его очень люблю и уважаю, но ведь он немножко нелеп; ведь он сам испакостил «Мизантропа». Переделать совсем, как говорится, на лусские нравы храбрости у него не хватило, а все-таки Альсеста перекроил в Крутона, и Палату какую-то приплел и лусскую песню и вышел — господи, прости ему его соглешение — совершенный сумбур. Теперь эту пиесу нельзя иглать по французским традициям, а ведь я знаю, что другу моему Федору Федоровичу хочется, чтоб ее иглали по-

французски; а по-лусски ее тоже нельзя иглать: разве это лусские люди? Это не люди, это бог знает кто такие; с луны попадали… Ну, разве так кто-нибудь говорит:

> И, словом, тот, кто друг всего земного круга,
> Того я не могу считать себе за друга!..

Ведь Мольер-то просто говорит: «Друг всего света не может быть моим другом». Я тоже в свою очередь почувствовал правду слов кн. Шаховского и согласился с ним, что переводчик сделал ошибку. Но я старался доказать Шаховскому, что актеры, играющие главные лица в комедии, весь интерес которой заключается в ярком, выпуклом, живом изображении людей, потому что эта пиеса характеров, а не интриги, — такой безжизненной игрой наскучат зрителям. Шаховской со мной не согласился и уверял, что пиеса пойдет отлично, забыв уже, что сейчас говорил о невозможности идти ей хорошо, и что он придаст огня Брянскому и Валберховой на вечерней репетиции, которая будет у него на квартире, куда и пригласил меня; но я, разумеется, не поверил его словам и не поехал на его домашнюю репетицию. С тех пор я не видался с кн. Шаховским до 1826 года, когда мы сделались уже большими приятелями.

В исходе марта я воротился из Петербурга в Москву. Я рассказал Кокошкину все проделки кн. Шаховского; рассказал, с каким успехом я читал его перевод в доме Державина, как был доволен Гаврила Романович и как велел его благодарить; рассказал даже и то, что после первого представления «Мизантропа», во время антракта перед какой-то другой пиесой, я пошел в ложу к Державину, который при других сказал мне, что он «больше оценил достоинство перевода, когда я читал «Мизантропа» у него в гостиной, и что после моего чтения он остался недоволен игрою актеров». Кокошкин обнимал и благодарил меня. «Ах, милый Сергей Тимофеич, как мне больно, — говорил он, — что этот сумасшедший Шаховской так неприятно вас встретил. Ведь он сумасшедший и не любит меня, считая, что я поклонник Карамзина и враг Шишкова, а я, как вы сами знаете, мой милый, ничей не поклонник и не враг. Я вот не люблю двоедушия: когда я читал первый акт моего «Мизантропа» в Беседе русского слова, Шаховской больше других меня хвалил. Ну, да я его усмирю при свиданье». — Мне показались странными и невероятными последние хвастливые слова; но чрез десять лет, когда кн. Шаховской, Кокошкин и я жили в Москве, я несколько раз имел случай видеть, как равнодушная важность Кокошкина укрощала вспыльчивость кн. Шаховского, впрочем весьма

податливого на уступки.

Последний месяц жизни моей в Москве я был полон совсем другими интересами, а потому литературные и театральные мои знакомства не поддерживались с прежнею живостью. Я видел, однако, Мочалова в двух самых лучших его ролях, в комедиях «Гваделупский житель» и «Тон модного света». Обе эти пиесы, теперь давно забытые, даже и тогда уже сходили с репертуара и давались очень редко; едва ли не в последний раз видела их тогда на сцене московская публика, и вместе с нею я — в первый и последний раз. Кокошкин, пользуясь сильным авторитетом при театре, устроил нарочно для меня оба спектакля: ему хотелось, чтоб я видел Мочалова в тех ролях, в которых он хорош безукоризненно, и в самом деле Мочалов привел меня в изумление и восхищение. Это было совершенство, которого я и вообразить не мог! Это было какое-то чудо, превращение! Мочалова в других пиесах, особенно в трагедиях, и Мочалова в «Гваделупском жителе» и преимущественно в «Тоне модного света» нельзя было признать одним и тем же человеком. Если б кто-нибудь видел Мочалова только в этих двух пиесах, он счел бы его за одного из первоклассных, великих артистов; между тем как этот же самый актер являлся во всех трагедиях без исключения, а в драмах и комедиях с исключениями — весьма плохим актером; у него бывали одушевленные места, но по большей части одушевление приходило некстати, не к месту, одним словом: талант был заметен, но отсутствие всякого искусства, непонимание представляемого лица убивали его талант. У него был один прием, всегда блистательно удававшийся ему на московской сцене: в каком-нибудь патетическом месте своей роли бросался он на авансцену и с неподдельным чувством, с огнем, вылетавшим прямо из души, скорым полушепотом произносил он несколько стихов или несколько строк прозы — и обыкновенно увлекал публику. В первый раз это, точно, был сценический порыв, избыток вскипевшего чувства, пришедшийся кстати и по справедливости восхитивший публику. Мочалов, заметив успех, стал употреблять этот прием чаще; сначала тогда только, когда чувствовал прилив одушевления, а потом уже без всякого прилива и совершенно невпопад, но благосклонная и благодарная публика всегда награждала его громкими рукоплесканиями. Это его избаловало; он начал плохо учить новые роли, забывал старые, изленился, загулял и начал постепенно падать в мнении публики. В самое это время его подняла и отрезвила роль Мизантропа, а потом роли в «Гваделупском жителе» и «Тоне модного света». Я с удовольствием вспоминаю тогдашнее мое знакомство с этим добрым и талантливым человеком; он как-то

очень полюбил меня, и когда, уезжая из Москвы в августе, я заехал проститься, месяца два перед этим не видавшись с ним, он очень неприятно был изумлен и очень сожалел о моем отъезде, и сказал мне: «Ну, Сергей Тимофеич, если это уже так решено, то я вам открою секрет: я готовлю московской публике сюрприз, хочу взять себе в бенефис «Эдипа в Афинах»; сам сыграю Эдипа, сын — Полиника, а дочь — Антигону. Вы послезавтра едете, а мне хочется, чтоб вы нас послушали. Паша, Маша, — закричал он, — ступайте сюда». Паша и Маша явились и вместе с отцом разыграли передо мною несколько сцен из «Эдипа в Афинах». Старик Мочалов мог бы очень хорошо сыграть Эдипа, если б понимал лучше роль и не молодился. Мочалов-сын и тогда уже показывал необыкновенный талант, бездну огня и чувства; дочь ничего не обещала, несмотря на прекрасные глаза, хотя и была впоследствии несколько лет любимицей Москвы и даже знаменитостью, особенно когда выучилась с голосу подражать некоторым блестящим местам в игре Семеновой, приезжавшей от времени до времени восхищать Москву. Старик Мочалов просил меня никому об этом не сказывать, даже Ф. Ф. Кокошкину, что мне было легко исполнить, потому что я до отъезда с Кокошкиным не видался. Через два дня я уехал в Оренбургскую губернию, с намерением прожить там десять лет. Через несколько месяцев меня уведомили, что старик Мочалов исполнил свое намерение и дал себе в бенефис «Эдипа в Афинах»; что сам он большого успеха не имел, а сын и дочь были приняты публикой с восторгом. Роль Полиника осталась одною из самых блестящих ролей молодого Мочалова.

1820 и 1821 годы

В 1820 году, в исходе августа, приехал я по особенным обстоятельствам, вопреки моему намерению прожить десять лет безвыездно в деревне, на год в Москву, уже с семейством. Я возобновил свое знакомство с Ф. Ф. Кокошкиным, начавшееся в 1812 году, перед нашествием французов, и сделавшееся очень близким в 1815 и 1816 годах. От него я узнал, что М. Н. Загоскин, также уже женатый человек, отец двух сыновей, переехал на житье в Москву за два месяца до моего приезда, что он предобрейший человек и очень часто у него бывает. Я рассказал Кокошкину про оригинальную встречу с Загоскиным и прибавил, что хочу съездить к нему, что мне совестно перед ним и что я постараюсь истребить неприятное впечатление, которое, вероятно, у него осталось от первого нашего свидания. Кокошкин рассмеялся и сказал мне, что я не имею понятия о добродушии Загоскина. В самом деле, через несколько дней я встретился с ним у того же Кокошкина, и Загоскин, предупрежденный обо мне в хорошую сторону, равно и о том, что я хочу к нему приехать, что мне совестно на него взглянуть, — бросился ко мне на шею, расцеловал меня в пух и чуть не задушил в своих объятиях, потому что был очень силен. «Ну как вам не стыдно помнить о таком вздоре! — сказал он, — как я рад, что мы с вами встретились и будем жить вместе в Москве. Ну, давайте же руку и подружимтесь». Все это было сказано так искренно, так просто и добродушно, что я полюбил Загоскина с первого разу. Он пользовался в это время уже авторской известностью и написал несколько комедий в прозе, которые имели большой успех на театре и в Петербурге и в Москве. На другой день поутру Загоскин предупредил меня, ранехонько приехал ко мне и просидел у меня несколько часов. Мы окончательно подружились и стали говорить друг другу «ты».

Загоскин был самый добродушный, простодушный, неизменно веселый, до излишества откровенный и прямо честный человек. Узнать его было нетрудно: с первых слов он являлся весь, как на ладонке, с первого свиданья в нем никто уже не сомневался и не ошибался. Соединяя с такими качествами крайнюю доверчивость, даже легковерие и убеждение, что все люди — прекрасные люди, он, можно сказать, приглашал всякого недоброго человека обмануть Загоскина, и, конечно, приглашение принималось часто охотно, и едва ли какой-нибудь смертный бывал так надуваем во всю свою жизнь, как Загоскин. Он имел прямой, здравый русский ум и толк: вся православная Русь знает

это из его сочинений; но в светском обществе самые ограниченные светские люди считали Загоскина простяком; мошенники, вероятно, выражались об нем еще бесцеремоннее. Даровитость его признавалась уже всеми, но в то время еще никто не подозревал, чтоб Загоскин мог написать «Благородный театр» и еще менее — «Юрия Милославского».

При первом свидании Загоскин рассказал мне всю свою жизнь и свое настоящее положение, причем, однако, нетрудно было заметить, что у него лежало что-то на душе, что он чего-то неприятного и тяжелого не договаривает. Он убедительно просил меня, чтоб я не отдавал ему визита; но я, разумеется, его не послушал и на другой же день к нему поехал. Загоскин жил в доме своего тестя, в мезонине с женой и детьми, и помещался очень тесно. Я видел, что мое посещение его смутило. Комнатка, в которой он меня принял, была проходная; все наши разговоры могли слышать посторонние люди из соседних комнат, а равно и мы слышали все, что около нас говорилось, особенно потому, что кругом разговаривали громко, нимало не стесняясь присутствием хозяина, принимающего у себя гостя. Загоскин, очень вспыльчивый, беспрестанно краснел, выбегал, даже пробовал унять неприличный шум, но я слышал, что ему отвечали смехом. Я понял положение бедного Загоскина посреди избалованного, наглого лакейства, в доме господина, представлявшего в себе отражение старинного русского капризного барина екатерининских времен, по-видимому не слишком уважавшего своего зятя. Я понял, чего не договорил Загоскин, и поспешил уехать, дав себе слово никогда не смущать своими посещениями нового моего приятеля. Он был так внутренно благодарен мне за то, что уезжаю, что несколько раз принимался меня целовать, обещая всякий день навещать меня; даже в тот же день хотел приехать вечером, но я сказал ему, что должен провести этот вечер у своей хозяйки, княгини Несвицкой. Загоскин сдержал свое обещание и бывал у меня всякий день, даже и в те дни, когда мы вместе с ним обедали или проводили вечера у общих наших знакомых. Правду сказать, я сам жил довольно тесненько и особенного кабинета у меня не было, но зато сидели мы в маленькой угловой гостиной, где никто нам не мешал и где могли мы говорить свободно и громко, потому что оба были большие и горячие крикуны.

Всего чаще мы бывали с Загоскиным у Ф. Ф. Кокошкина, который жил постоянно в Москве, в своем прекрасном и большом доме у Арбатских ворот, на углу Воздвиженки. Он пользовался тогда общим уважением как литератор (за перевод «Мизантропа»), как знаменитый декламатор, любитель и

покровитель театрального искусства, как благородный артист и как гостеприимный хозяин: у него нередко бывали все московские литераторы и даже петербургские, когда приезжали в Москву. Кокошкин, страстный охотник играть на театре, подкрепленный моим горячим сочувствием, не замедлил завести у себя в доме благородные спектакли, в которых впоследствии принимал участие и Загоскин, хотя он вовсе не имел сценических дарований и притом был забывчив, рассеян и очень способен приходить в крайнее смущение. Для первого спектакля была выбрана комедия «Два Фигаро», пиеса огромная, очень трудная для исполнения. Главную роль старого Фигаро играл Кокошкин мастерски, по общему признанию тогдашних знатоков; молодой Фигаро, кажется г-н Ф—р, был недурен. Я также с успехом занимал роль графа Альмавивы, обыкновенно пропадавшую на публичной сцене и в Москве и в Петербурге, потому что ее никогда не играл хороший актер, а роль требовала понимания и труда. Долго работали мы общими силами над постановкой этой пиесы, и я беспристрастно скажу, что не видал во всю мою жизнь такого непубличного, так называемого благородного, спектакля. Самое большое затруднение представляли женские роли; но тогда и это затруднение было счастливо побеждено: наши благородные артистки любили искусство, слушались советов и не скучали репетициями; роль же Сусанны с блистательным успехом игралась известным тогда в Москве талантом благородной сцены, Е. А. В—ю. Два раза смотрело лучшее московское общество эту пиесу, осыпая ее громкими рукоплесканиями, и долго шумела молва об этом великолепном и поистине прекрасном спектакле. Сами актеры были очарованы им. Сойдя со сцены, мы были еще так полны своими и чужими впечатлениями, что посреди шумного бала, сменившего спектакль, не смешались с обществом, которое приветствовало нас восторженными, искренними похвалами; мы невольно искали друг друга и, отовравшись особым кружком, разумеется, кроме хозяина, говорили о своем чудном спектакле; тем же особым кружком сели мы за великолепный ужин — и, боже мой, как были счастливы! Я обращаюсь ко всем вам, моим сотоварищам и собеседникам в этот вечер, уцелевшим на жизненном пути, вам, пощаженным еще временем! Вы, верно, не забыли этого спектакля и этого ужина, не забыли этого чистого, упоительного веселья, которому предавались мы с увлечением молодости и любви к искусству; не правда ли, что это было что-то необыкновенное, никогда уже не повторившееся?..

Кокошкин приходил к нам, на минуту оторвавшись от своих почетных гостей; он завидовал нам и выпил в честь нашего

спектакля «актерский бокал».

Загоскин не участвовал в спектакле, но присутствовал на каждой репетиции, ужинал вместе с нами и разделял наше увлечение. Ему уже хотелось играть самому, но он еще боролся с своей робостью. На другой день мы все собрались обедать к Кокошкину. Странное дело! Многие из нас чувствовали какое-то грустное настроение духа; разумеется, каждый приписывал это личному расположению, и каждый был удивлен, заметив то же самое у других. Один из самых страстных актеров написал стихи… но к чему таиться — это был я. Стихи плоховаты, но в них именно высказывалась грусть, что кончились наши заботы и тревоги, что уже не существует предмета и цели наших стремлений, что нет впереди такого спектакля, которого мы ждали, к которому готовились, как будто к важному событию. Стихи пришлись очень кстати: они каждому объясняли его чувство и потому были приняты с восторгом, от некоторых дам — даже со слезами. Вот уцелевшие в памяти моей строки:

Где вы, тревожные заботы, суеты,
Сердец приятное волненье,
Боязни и надежд пременно ощущенье
И самолюбия мечты?
Где зрителей восторг и удивленье,
Талантам истинным нельстивые хвалы,
Рукоплесканий гром, благодаренье,
Весельем искренним шумящие столы?
Исчезло все… и пустота, смущенье.
Уныние на сердце налегло!
Зачем же цели достиженье,
Свершившись, — нам отрад не принесло?

Здесь многих стихов не помню, но вот заключение:

Прочь, души хладные, хулители суровы,
Дерзающие нас с презреньем порицать! *
Влачите рабские приличия оковы!
Не вам божественный огонь в себе питать.
Веселье чистое утехи благородной,
Любовь к искусству — ты питай меня всегда,
От предрассудков всех души моей свободной
Не покидай в сей жизни никогда![16]

Сколько детского и, пожалуй, смешного было в этом

увлечении! Как оно живо выражает отсутствие серьезных интересов или, пожалуй, серьезность интереса и взгляда на искусство, может быть у многих бессознательного. Но приятно вспомнить об этом времени. В тридцать шесть лет постарели не мы одни, не наши только личности — постарело, или, правильнее сказать, возмужало общество, и подобное увлечение теперь невозможно между самыми молодыми людьми. В Москве же тогда много находилось даже пожилых людей и стариков, для которых спектакль «Два Фигаро» был важным событием в летописях благородной сцены театрального искусства. Но, конечно, никто так не оценил и никто не принял так близко к сердцу нашего спектакля, как кн. Ив. М. Долгорукий, который был не только сам *в душе* страстный и отличный, по-тогдашнему, актер, но не менее того любил щеголять постановкою благородных спектаклей в своем доме.

Князь И. М. Долгорукий был поистине достолюбезное лицо, также невозможное в настоящее время. Он прекрасно изображен, как писатель и человек, в биографии, написанной М. А. Дмитриевым и напечатанной в 1851 году под названием: «Князь Иван Михайлыч Долгорукой и его сочинения». Он считался в Москве одним из остроумнейших людей своего времени и первым мастером говорить в обществе, особенно на французском языке. Я помню, что на больших обедах или ужинах обыкновенно сажали подле него с обеих сторон по самой бойкой говорунье, известной по уму и дару слова, потому что у одной недостало бы сил на поддержание одушевленного с ним разговора. Я сам слыхал, как эти дамы и девицы жаловались после на усталость головы и языка, как все общество искренно им сочувствовало, признавая, что «проговорить с князем Иваном Михайловичем два часа и не ослабить живости разговора — большой подвиг». Это было действительно справедливо, только я думаю, что этот подвиг больше требовал бойкости и быстроты речи, любезной болтовни, чем настоящего остроумия. При всей своей светскости кн. И. М. бывал иногда простодушен и весел, как дитя, и, говоря по-русски в коротком обществе мужчин, очень любил выражаться не только попросту, но даже по-простонародному; он любил употреблять слишком резкие и точные слова, любил озадачивать ими своих слушателей. — Кокошкин давно уже познакомил меня с ним, но князь мало обращал на меня внимания: он любил светскость и бойкость в молодых людях, а именно этих качеств я не имел никогда, я был даже немножко дик с людьми, не коротко знакомыми; впрочем, князь пригласил меня на свой спектакль, который шел недели за две до «Двух Фигаро». Спектакль состоял из двух небольших пиес: комедии «Холостой заряд», не знаю кем

написанной, и пословицы (proverbe) «У семи нянек дитя без глазу» (кажется, так), сочиненной самим хозяином. Последняя пиеса была очень жива и забавна. Содержание ее состояло в следующем: один русский помещик-агроном, для лучшего устройства своего хозяйства на иностранный манер, разделяет сельское управление на несколько частей и каждую вверяет особому наемному управителю или директору, в числе которых находится ученый немец и еще, кажется, один семинарист; все директоры должны сноситься между собою письменно или словесно в конторе, не выходя из назначенной им колеи, не переступая пределов их власти. Разумеется, из этого выходит страшная кутерьма, так что и деревня совсем было сгорела оттого, что заведовавший пожарною частью не получил вовремя надлежащего уведомления. По счастью, близкий сосед, не нововводитель, не агроном, а умный русский помещик, увидя пожар, прискакивает с своими людьми и пожарными инструментами и спасает от конечной погибели село и дом своего соседа. Он делает еще более — он образумливает помещика-агронома, который был не что иное, как своего рода и времени Кошкарев, выведенный Гоголем во втором томе «Мертвых душ». Я помню, что было очень много презабавных сцен, что зрители очень много смеялись и что А. Д. Курбатов играл ученого немца с удивительным совершенством; вообще спектакль был слажен очень хорошо, и публика осыпала его громкими рукоплесканиями и единодушными, горячими похвалами. Хозяин был в восторге и, как я слышал, выражался несколько иронически насчет будущего спектакля у Кокошкина, о котором мы уже два месяца хлопотали. В свою очередь и Кокошкин, великолепно и напыщенно хваля спектакль кн. Долгорукова, прибавлял, по доверенности, коротким людям, что «невелика премудрость поставить хорошо две пиески и что постановка серьезной, классической комедии (уж как попали «Два Фигаро» в классические комедии — решительно не знаю) требует побольше трудов и знаний». До князя И. М. дошли эти слова, и он, задетый за живое в самом чувствительном месте — в искусстве составлять благородные спектакли, — приехал с сильным предубеждением и расположением найти наше представление невыносимо скучным. Но, как истинный артист, он скоро забыл мелочные расчеты оскорбленного тщеславия, пришел в восхищение и в продолжение всего спектакля беспрестанно повторял: «C'est magnifique, c'est sublime». [17] Когда опустился занавес, он, с живостью молодого человека, прибежал к нам на сцену, всех нас обнимал, особенно меня, тут же признаваясь, что виноват передо мной, прося приехать к нему непременно на

другой день и обещая во всем мне покаяться. Я приехал на другой день поутру. Восхищение кн. Ивана Михайлыча несколько прошло, или, лучше сказать, было уже подавлено досадой на блистательный успех нашего спектакля. С откровенностью, доходившею до излишества, он сказал мне между прочим, что считал меня оренбургским медведем, способным сыграть разве степного помещика, а не графа Альмавиву… Тут осыпал он меня похвалами, которые мне совестно повторять и которые, конечно, были чересчур преувеличены; он кончил тем, что будто до сих пор, не только зритель, но и сами актеры, не ведали, что такое «граф Альмавива», и что теперь только познакомилась с ним и поняла его публика. Потом вновь овладела им досада, и старик, ходя по комнате, с комическим жаром и детскою наивностью говорил как будто сам с собою: «Какой счастливец этот Федор Федорыч! Точно с неба сваливаются ему таланты! И рад бы был сыграть большую комедию, да где же взять актеров? Где найти такую Сусанну, какая у него? Мало этого: ему вдруг нежданно-негаданно падает охотник с Рифейских гор, который целый век гонялся за оленями и ловил сурков, и в этом охотнике открывается капитальный талант! Да и сам Федор Федорыч сроду ни в чем не был так хорош, как в старом Фигаро: эта роль выкроена по нем…» Не знаю, откуда пришли в голову кн. Долгорукову Рифейские горы, олени и сурки, только они так прочно засели у него в голове, что я никогда не мог разуверить его, что не бывал на Рифейских горах, не гонялся за оленями, не ловил сурков и что я давнишний актер. С этих пор князь меня очень полюбил. Я много читывал ему из его ненапечатанных сочинений и в том числе огромную трагедию в три тысячи варварских стихов, которая происходила в неведомом месте, у неизвестного народа. Впрочем, сочинитель сам подсмеивался над своим творением. Когда впоследствии, уезжая из Москвы, я приехал с ним проститься, он с истинной грустью вскричал: «Опять на свой Рифей, опять гоняться за оленями, опять ловить сурков! Ну там ли ваше место?..» Разумеется, я ему уже не противоречил.

Через месяц после «Двух Фигаро» составился опять спектакль у князя Ив. Мих. Долгорукова. Я сам напросился сыграть какую-нибудь роль, и хозяин с благодарностью принял мое предложение; кажется, спектакль состоял из небольшой комедии Н. И. Хмельницкого «Нерешительный, или Семь пятниц на неделе», и также маленькой комедии Коцебу «Новый век»; в последней я играл старого купца или банкира Верлова. Спектакль был миленький, но должно признаться, что Кокошкин говорил правду: это были *пиески!*

В продолжение зимних месяцев 1820 и 1821 годов мы составили еще несколько спектаклей в доме Кокошкина. Все они были более или менее замечательны по своей постановке и по отличному исполнению некоторых ролей; но спектакль «Двух Фигаро» остался несравненным и незабвенным. Загоскин также решился выйти на сцену; он выбрал для этого маленькую пиеску в стихах, кажется «Говорун», в которой только одно и есть действующее лицо, говорящее беспрестанно; она шла перед большой комедией Княжнина «Хвастун». Выбор весьма неудачный, как и самая мысль сочинить такую болтовню; имени сочинителя не помню. Вероятно, она была написана для известного лица в обществе, для известного таланта, для мастера говорить живо, весело, разнообразно и увлекательно. Ничего этого в Загоскине не было, и я, право, не знаю, для чего мы допустили его играть эту роль. Правда, зрители беспрестанно хлопали и без умолку хохотали; но было смешно не представляемое лицо, а Загоскин: с первых слов он начал уже конфузиться, перепутывать стихи, забывать роль и не слушать суфлера. Чем больше хохотала и чем больше хлопала публика, тем больше смущался бедный Загоскин и несколько раз хотел уйти со сцены, не доиграв пиесы. Кокошкин и все мы, стоя за кулисами, знаками, жестами и поклонами едва могли упросить его, чтоб он продолжал. Поистине сказать, явление было вполне комическое. Загоскин бесился на себя, зачем он вздумал играть; кровь бросалась ему в лицо, он краснел, как бурак, а по пиесе ему следовало быть веселым, шутить и любезно болтать; эта борьба была так забавна в Загоскине, что людям, знавшим его коротко, трудно было удержаться от смеха. Но Кокошкин и я, принимавшие горячее участие в спектакле, — не смеялись, а испугались. Когда опустился занавес, Загоскин должен был, по пиесе, продолжать несколько времени свою болтовню, но на сцене поднялся такой шум, крик и хохот, что зрители принялись аплодировать: Загоскин шумел и бранился, а мы все неудержимо хохотали. Загоскин тут же наложил на себя заклятие — никогда более не играть; но «где клятва, там и преступление», не знаю, кем-то было сказано, и сказано справедливо: Загоскин играл еще раза два, и каждый раз с такою же неудачею.

Самым интересным спектаклем, после «Двух Фигаро», была небольшая комедия «Два Криспина», сыгранная вместе с какой-то пиесой. Двух Криспинов играли знаменитые благородные актеры-соперники: Ф. Ф. Кокошкин и А. М. Пушкин, который, так же, как и Кокошкин, перевел одну из Мольеровых комедий — «Тартюф» и также с переделкою на русские нравы. Этот спектакль — была дуэль насмерть между двумя признанными талантами. Любители

театрального искусства долго вспоминали этот «бой артистов». Следовало бы кому-нибудь одержать победу и кому-нибудь быть побеждену; но публика разделилась на две равные половины, и каждая своего героя считала и провозглашала победителем. Почитатели Пушкина говорили, что Пушкин был гораздо лучше Кокошкина, потому что был ловок, жив, любезен, прост и естествен в высшей степени. Все это правда, и в этом отношении Кокошкин не выдерживал никакого сравнения с Пушкиным. Но почитатели Кокошкина говорили, что он, худо ли, хорошо ли, но играл Криспина, а Пушкин сыграл — Пушкина, что также была совершенная правда, из чего и следует заключить, что оба актера в Криспинах были неудовлетворительны. Криспин — известное лицо на французской сцене; оно игралось и теперь играется (если играется) по *традициям*; так играл его и Кокошкин, но по-моему играл неудачно, именно по недостатку естественности и жизни, ибо в исполнении самих традиций должна быть своего рода естественность и одушевление. Пушкин решительно играл себя или, по крайней мере, — современного, ловкого плута; даже не надевал на себя известного костюма, в котором всегда является на сцену Криспин: одним словом, тут и тени не было Криспина.

Изредка продолжал я видаться с Н. И. Ильиным, который делался как-то час от часу страннее и начинал как будто заговариваться. Люди, которые видались с ним часто, замечали это уже давно, а теперь стали замечать все. Он был прежде коротко знаком с Кокошкиным; они даже некогда игрывали вместе на театре, в доме у кн. Юрья Владимировича Долгорукого, который все еще продолжал жить на Большой Никитской, в своих безобразных барских палатах, одна половина которых все еще оставалась неоштукатуренною. Я сказал *продолжал жить*, во-первых, потому, что кн. Юрью Владимировичу было, как говорили, за восемьдесят лет, а во-вторых, потому, что тридцать лет тому назад он уже умирал, лежал в гробу, едва не был похоронен, ожил каким-то чудом и продолжал жить и давать спектакли. Так по крайней мере утверждала общая молва; мне помнится даже, что где-то было напечатано об этом. — Во всех кругах общества говорили, что Ильин влюблен в одну знатную графиню и что он дожидается чина действительного статского советника, чтобы сделать формальное предложение; но, кажется, и чина статского советника было довольно, чтобы вскружить бедную его голову. Я помню, что Кокошкин предлагал ему чрез меня принять участие в наших спектаклях, а именно: сыграть роль Верхолета в «Хвастуне» Княжнина, роль, которую он некогда игрывал с успехом, Ильин отвечал мне, что *российскому* статскому советнику, по его мнению, неприлично выходить на сцену, но что

он благодарит за приглашение и очень будет рад посмотреть наш спектакль. Кокошкин и кн. Ив. Мих. Долгорукий всегда его приглашали. Роль Верхолета я принужден был взять на себя. Это была с моей стороны жертва; роль вовсе не шла ко мне, и я был в ней положительно дурен. Ник. Ив. Ильин уже не занимался литературой и даже говорил о ней с пренебрежением; авторская слава уже не пленяла его: государственная служба, чины, ордена, высокие места в правительстве — вот что составляло предмет его разговоров и желаний. Впоследствии несчастный Ильин, не дождавшись чина действительного статского советника, сделал предложение, получил отказ, помешался окончательно и, кажется, скоро умер. Я получил об этом известие уже в деревне. Любовь или честолюбие были первоначальною причиною сумасшествия бедного Ильина — это был вопрос и спорный пункт в московских гостиных. Любопытно, что во время совершенного помешательства Ильин опять обратился к литературе и к стихотворству, которым прежде никогда не занимался. Он душил стихами всякого, кто только ему попадался.

В эту же зиму узнал я и очень горячо полюбил Александра Иваныча Писарева, который находился еще в университетском благородном пансионе; впрочем, это было только за полгода перед выпуском воспитанников. Он участвовал в наших спектаклях, хотя сценических способностей у него было так же мало, как у Загоскина. Несмотря на восемнадцатилетнюю молодость, блестящий острый ум Писарева был уже серьезен и глубок. Вся пансионская молодежь признавала его превосходство, и все, кто его знал, смотрели на Писарева как на будущего славного писателя; его проза и стихи превозносились не только товарищами и начальством пансиона, но и всеми; театр, литература были его призваньем, страстью, жизнью. С первого свиданья Писарев почувствовал искренность моего участия и полюбил меня как брата; все время, свободное от классного ученья, он проводил у меня в доме. Писарев имел раздражительный, но сосредоточенный характер; внешнее выражение у него было тихо, спокойно и холодно даже и тогда, когда он задыхался от внутреннего волнения. Он не краснел ни от гнева, ни от радости, а бледнел. Это гораздо тяжеле и вредно действовало на его всегда слабое здоровье. Писарев вышел вторым воспитанником из университетского пансиона; он был очень дружен только с одним товарищем своим, Юшневским; они оба получили при выпуске десятый класс, но имя Писарева, написанное золотыми буквами на мраморной доске, осталось навсегда между именами Жуковского и других отличных воспитанников. В ту же минуту, после пансионского акта и за

несколько часов до личного со мной свидания, Писарев написал ко мне молодое, горячее письмо, которое, к сожалению, потеряно. Писарев немедленно уехал к отцу и матери в орловскую деревню; не дождавшись его возвращения в Москву, я также отправился в свой путь, но с этого времени началась между нами живая, искренняя переписка, продолжавшаяся постоянно все пять лет моего пребывания в Оренбургской губернии. Загоскин и Кокошкин также были знакомы с Писаревым и очень его любили, а равно и весь литературный кружок, собиравшийся в доме Кокошкина. Я не называю всех членов, его составлявших, я вспоминаю только о тех, кого уже нет на свете. — Воспоминаниям о Писареве надобно будет посвятить особую статью.[18]

Летом у нас, то есть в доме Кокошкина, был еще спектакль, который можно назвать прощальным; он был приготовлен секретно для сестры Кокошкина, Аграфены Федоровны, в день ее именин, женщины редкой по своей доброте и добродетельной жизни: мы сыграли маленькую комедию Коцебу «Береговое право» и комедию Хмельницкого «Воздушные замки».

Загоскин, по своему доброму и уживчивому нраву, примирился с своим стеснительным положением, и литературная деятельность его проснулась. В этом же году он в первый раз начал писать стихами, чего никак невозможно было предположить: он не имел уха и не чувствовал меры и падения стиха. Своим посланием к Н. И. Гнедичу он удивил всех московских и петербургских литераторов. Обо всем этом написано мною подробно в биографии Загоскина.

В этот год, то есть с августа 1820 по август 1821, собственно моя литературная деятельность ограничивалась немногим: я напечатал свой перевод X сатиры Буало. Увы, я также подчинился нелепому направлению большой части литераторов того времени — и переложил Буало на русские нравы! Казалось, так лучше, понятнее, сильнее произведет впечатление на читателей, а притом — все так делали. Этот перевод, читанный Кокошкиным и самим мною в разных общественных кругах, имел успех и подкрепил мою небольшую литературную известность, доставленную мне переводом «Филоктета» и Мольеровой комедии «Школа мужей», которая игралась на Петербургском театре, тоже не без успеха. Тогда же я написал и напечатал в «Вестнике Европы» стихи «Уральский казак» (истинное происшествие) — слабое и бледное подражание «Черной шали» Пушкина, и «Элегию в новом вкусе» — протест против туманно-мечтательных стихотворений, порожденных подражанием

Жуковскому, и, наконец, «Послание к кн. Вяземскому в ответ на его послание к Каченовскому», не помню где напечатанное, которое начиналось так:

Перед судом ума сколь, Каченовский, жалок
Талантов низкий враг, завистливый зоил!
Как оный вечный огнь пред алтарем весталок,
Так втайне вечный яд, дар лютых адских сил,
В груди несчастного неугасимо тлеет.

Я вовсе не был пристрастен к скептическому Каченовскому, но мне жаль стало старика, имевшего некоторые почтенные качества, и я написал начало послания, чтоб показать, как можно отразить тем же оружием кн. Вяземского;

[Послание мое начиналось так:

Перед судом ума сколь, Вяземский, смешон,
Кто самолюбием, пристрастьем увлечен,
Век раболепствуя, с слепым благоговеньем —
Творений критику считает преступленьем
И хочет, всем назло, чтоб весь подлунный мир
За бога признавал им славимый кумир
и проч.]

но Загоскин, особенно Писарев, а всех более М. А. Дмитриев, упросили меня дописать послание и даже напечатать. Они сами отвозили стихи Каченовскому, который чрезвычайно был ими доволен и с радостью их напечатал. Но я до сих пор не знаю, по какой причине вместо «Послание к кн. В.» он напечатал «К Птелинскому-Ульминскому», и вместо подписи: С. А. — поставил цифры 200–1. С этого времени Каченовский всегда мне очень приветливо улыбался и кланялся, чего удостоивал весьма немногих.

В продолжение великого поста (1821 год) кн. И. М. Долгорукий, которого живая природа требовала деятельности современной, общественной, как бы ни было мелко ее содержание, составил у себя в доме приятельское литературное общество, над которым и тогда подсмеивались иные члены и посетители. Некоторые из нас, конечно из одного желания утешить любезного хозяина, согласились принять участие в его детской или стариковской забаве. Заседаний было пять, и в каждое я, как и другие, представлял по одному и по два

стихотворения. Все члены желали, чтоб я читал их сочинения, а как это было невозможно, то, по предложению хозяина, было постановлено правилом: чтоб каждый сочинитель сам читал свою пиесу. Все это очень живо рассказано в брошюре М. А. Дмитриева, и я добавлю только, что общество существовало, даже в обширнейших размерах, и на следующий год. А. Писарев, впоследствии также бывший членом, писал ко мне в 1822 году, что выбрано несколько новых членов и что на предпоследнем заседании, в числе других посетителей, находился главнокомандующий кн. Д. В. Голицын, который охотно принимал участие во всякой просвещенной забаве: следовательно, нет сомнения, что собрание было многочисленно, блистательно и что хозяин был совершенно счастлив.

В этом же году был я выбран в действительные члены Общества любителей российской словесности при Московском университете и выбран единогласно. Я сознаюсь, что это было мне очень приятно и лестно. Я не представлял никакого сочинения; итак, меня удостоили этой чести за переводы. Кажется, при мне в эту зиму были два публичные заседания; посетителей было довольно, и мы с Кокошкиным попеременно декламировали почти все пиесы, разумеется по желанию самих сочинителей. Это общество имело значение и влияние. Московская публика приняла живое участие в его заседаниях и начала очень охотно посещать их, потому что они получили менее сухой, ученый характер, а более чисто литературный, более понятный, доступный людям светским и особенно приятный любителям изящной словесности. Собрания становились многочисленны и блистательны; образованные женщины лучшего круга оживляли их своим присутствием! Года с 1821 по 1829 включительно можно назвать самым цветущим периодом Московского общества любителей российской словесности, которое с 1834 года без всякой видимой причины перестало собираться и не собирается до сих пор. То же случилось, в разные сроки, со всеми литературными обществами в России. — А. А. Прокопович-Антонский был постоянным председателем Общества в его блистательное время. Едва ли не ему одному обязано оно своим процветаньем. Не могу сказать, из каких причин, только Антонский заботился и хлопотал о составлении публичных чтений с неутомимою ревностью; Мерзляков и Каченовский были главными его помощниками.

В августе я уехал в Оренбургскую губернию, напутствуемый искренним сожалением и дружбою моих приятелей, особенно Кокошкина и Загоскина. Писарева не было в Москве, и он горевал о моем отъезде заочно, выражая свое огорчение в письмах ко мне.

Я уехал из Москвы с особенным грустным чувством, никогда еще мною не испытанным. Никогда еще не сживался я так с Москвою, как в этот год! Публичный театр, частные спектакли, литературные собрания, дружеский круг добрых приятелей, более или менее сходных со мною в своих наклонностях и увлечениях, а главное Москва со всем своим историческим и народным значением, яснее прежнего понятым и глубже почувствованным мною, — все вместе наполняло мою душу, в минуту разлуки, смущением и унынием. Мне самому было ново и странно такое чувство. Мне ли, страстному поклоннику вечных красот природы и моего чудного, родимого края, свободы его полей и лесов, его роскошного простора и приволья, мне ли, безумному охотнику, грустить, расставаясь с неволей и шумом городской жизни, с пыльной и душной Москвой? Всегда весело расставался я с обеими столицами, всегда с радостным волнением спешил в благословенную деревню… и мне больно было, что я не испытывал прежнего чувства. Конечно, были и другие причины: я уезжал не в милое свое Аксаково, не на берега Бугуруслана, а в другое имение, находящееся в глухом Белебеевском уезде. Кроме того, что местоположение его было ровно и скучно, без освежающей тени дерев, без реки, следовательно не привлекало охотника; кроме того, что я не любил этой деревни, меня ждало другое горе: я должен был заняться хозяйством, которого терпеть не мог!.. Я смутно предчувствовал, что только там ляжет на меня вся тяжесть ложных и печальных отношений… Но не в моей природе было надолго предаваться унынию! Благодаря живости моего воображения и мечтательному легкомыслию я раскрашивал радужными цветами будущую мою сельскую деятельность, уже виднелась мне в отдалении Москва, и я с горячею бодростью готовился к новой для меня жизни хозяина, как единственному средству жить потом в Москве.

1825 и 1826 годы

Уже с лишком четыре года жил я отдельно с своей семьей в Оренбургской губернии, в селе Надежине, в семи верстах от одного из самых дряннейших уездных городишек в России Белебея, произведенного в звание города из чувашской деревушки, сидевшей на речке Билыбей, которую русские перекрестили в Белебейку. Таких переименований в нашем уезде было множество. Я, например, жил на речке Сююш, получившей имя Сивушка; в соседстве же у меня была деревня, прозывавшаяся по имени своей речки, Иу-елга; ее просто звали Иволга.

По принятому мною заранее плану: прожить десять лет безвыездно в Оренбургской губернии, — мне оставалось жить в деревне еще один год; но как в продолжение этого времени я уезжал в Москву ровно на год, то мне следовало прожить в Надежине еще два года. Я давно уже разочаровался в моих надеждах сделаться хорошим хозяином и накопить порядочную сумму денег до переезда на житье в Москву. Я никак не ожидал такой неудачи. Прежде, в отсутствие моего отца, мне случалось управлять несколькими деревнями и смотреть за производством сельских работ. Конечно, я занимался неприлежно, неохотно, но узнал и понял дело хорошо. Видел, что можно ввести много улучшений и следственно — увеличить доход. Основываясь на таких данных, я подумал, что, управляя собственным имением, имея такие сильные побудительные причины заниматься хозяйством, при всей моей нелюбви к нему я наделаю чудеса. Но вышло совсем не так. Во-первых, много прошло времени после первоначальных моих хозяйственных опытов, и я не так уже поверхностно и легкомысленно смотрел на отношения помещика к своим крестьянам. Во-вторых, мои хозяйственные сведения и опыты оказались вовсе недостаточными, потому что грунт земли в Надежине был другой и далеко не так хорош, как в Аксакове; да и значительная возвышенность местности сильно охлаждала почву и подвергала растительность хлебов несвоевременным морозам. Два неурожайных года сряду лишили меня бодрости. Нетерпение и недостаток твердого постоянства были свойственны моей впечатлительной природе — и я бросил хозяйство. Хорошо, что я скоро догадался *не мешать старосте*: все пошло по-прежнему, и хозяйственные дела пошли гораздо лучше; но зато нравственное мое чувство беспрестанно оскорблялось, и сознание в собственном «бессилии быть полезным» отравляло мою тихую, уединенную деревенскую жизнь.

Ружейная охота, степная, лесная и болотная, уженье форели

всех трех родов (другой рыбы поблизости около меня не было), переписка с московскими друзьями, чтение книг и журналов и, наконец, литературные занятия наполняли мои летние и зимние досужные часы, остававшиеся праздными от внутренней, семейной жизни. Общества не было или было такое, какое хорошо только в художественном воспроизведении, а не в действительности. Я перевел осьмую сатиру Буало, несколько сцен из французских трагедий и написал с десяток посланий в стихах. Статья моя о театре и театральном искусстве, не помню только под каким заглавием, была напечатана в «Вестнике Европы», туда же послал я подробный и строгий разбор «Федры», переведенной Лобановым, но, не знаю почему, Каченовский не напечатал моей критики, и я более ничего ему не посылал. Всего чаще переписывался я с А. И. Писаревым, который во время моего отсутствия сделался блистательным водевилистом; водевили были все переводные, но куплеты оригинальные и так хороши, что до сих пор остаются лучшими водевильными куплетами. Все, приспособленные к настоящему времени литературной полемики, остроумные, колкие и даже злые, они скоро доставили Писареву обольстительное титло — любимца московской публики. Впрочем, Писарев не одними водевилями заслужил свою известность и славу. Кроме многих, по-тогдашнему прекрасных, стихотворений, из которых были особенно замечательны две сатиры, напечатанные под названием «Посланий к молодому любителю словесности», он переложил гладкими и сильными стихами старинную комедию Шеридана «Школа злословия» и назвал ее «Лукавин», по имени одного из действующих лиц, характер которого развит Писаревым гораздо шире и полнее, чем у Шеридана. Он переделал также стихами французскую комедию в трех действиях (Voyage a Dieppe) на русские нравы и назвал «Поездка в Кронштадт». Обе комедии были напечатаны и приняты всеми без исключения, разумеется кроме литературных врагов, с великими похвалами. «Поездку в Кронштадт» он посвятил мне. Стихи в ней еще лучше, чем в «Лукавине».

Кстати: надобно предварительно сказать, что в Москве, через год после моего отъезда, из театральной конторы, находившейся под непосредственным управлением московского военного генерал-губернатора, образовалась отдельная дирекция. Директором был определен Кокошкин, а членом дирекции по хозяйственной части — Загоскин; репертуарным членом был назначен Арсеньев, человек очень любезный и образованный, даже знаток и страстный поклонник греческой литературы; но в репертуарные дела он не мешался и предоставил их Кокошкину, который, по страстной своей охоте к театру, ревностно занимался

репертуарною частью. Писарев, живший у Кокошкина в доме и находившийся в самых близких отношениях к нему и Загоскину, даже много обязанный им обоим, прямо попал в театральную сферу, полюбил ее и определился в службу дирекции переводчиком и помощником репертуарного члена Арсеньева: успехи пиес на сцене, разумеется, еще более увлекли Писарева, и скоро он утонул в закулисном мире…

Наступила зима 1825 года. Все было тихо и спокойно в нашей пустынной глуши. Ничто не предвещало важности грядущих событий, а между тем историческая драма уже начиналась… 6 декабря, на именинах у кого-то из соседей, где находились, между прочим, все белебеевские чиновники и живший в этом городке прежний наш губернатор М. А. Наврозов, получили мы известие, что государь Александр Павлович скончался в Таганроге. Весть эта поразила всех таким ужасом, какого я ни прежде, ни после не видел и сам не испытывал. Конечно, много было причин к такому общему поражению, но было что-то и особенное. Покойный император находился в самой поре мужества и зрелости человеческого возраста, ему шел сорок восьмой год, все привыкли считать его крепким, здоровым, способным переносить безвредно всякие телесные труды и всякие душевные тревоги, которых, как известно, он испытал немало; не было ни малейшего слуха об его болезни, даже о нездоровье — внезапная весть об его кончине должна была потрясти всех. Это был громовой удар из безоблачных небес. Притом смерть императора, во время царствования которого совершились мировые события, которого имя неразрывно связано с «вечной памятью двенадцатого года», возведшего Россию на высшую степень славы и могущества, императора, твердостью которого, по общему убеждению, пал Наполеон, недавно кончивший дни свои узником на острове св. Елены, — смерть такого государя всех заставила невольно почувствовать безотчетный страх. Когда мы несколько опомнились и вышли из оцепенения, первая мысль представилась: кто будет царем? Все присутствующие, кроме меня и Наврозова, не сомневались, что преемником Александра Павловича будет цесаревич Константин; но мы с Наврозовым были убеждены в противном. Мы очень хорошо помнили, что в 1820 году был расторгнут брак цесаревича с его законною супругою и последовал манифест, которым узаконялось, что всякий член императорской фамилии, вступивший в брачный союз с лицом, не принадлежащим к владетельному дому, не может сообщать ему права императорской фамилии и что дети их на престол никогда взойти не могут. Вслед за тем цесаревич женился на графине Лович, полячке и католичке, — как же можно

было ей сделаться русской императрицей? Притом впоследствии носились темные слухи, что цесаревич Константин потому и получил согласие императора Александра на развод и вторичную женитьбу, что отрекся от права наследия на русский престол. Каково же было мое удивление, когда на другой день поутру уведомили меня из города, что с нарочным курьером получен указ правительствующего сената, извещающий о кончине императора Александра I и о присяге законному наследнику его Константину Павловичу. Сильно смущенный, поехал я немедленно в Белебей, чтоб потолковать с Наврозовым. Там уже все присягнули. Людям, понимавшим сколько-нибудь дело, крепко не нравилась новая императрица, хотя, по слухам, она была превосходная женщина. «Веру-то переменит, — говорил мой родственник, уездный судья Бунин. — Это пустое, будто католички веры не меняют. Для всероссийского престола можно и две веры переменить. Да вот беда: кровь-то в ней польская; будет руку поляков держать, а Константин Павлович, говорят, и без того в них души не чает». Оставшись наедине с Наврозовым, сообщили мы друг другу свои тревожные опасения и расстались убежденными, что дела так идти не могут. Недели через три прочли мы в «Московских ведомостях» известие о 14 декабря и вслед за тем новый указ о присяге новому императору Николаю Павловичу, а также его манифест с приложением всех бумаг, касающихся до отречения цесаревича Константина Павловича, сначала от права наследия, а потом от престола, — когда уже была принесена ему присяга во всей России. В уезде, в котором я жил, вторая присяга не произвела никакого смущения; помещики, чиновники и вообще весь грамотный люд не могли сомневаться в правде и подлинности актов и очень были довольны, что цесаревич не будет императором, потому что все опасались польского влияния. Простой же народ состоял из помещичьих крестьян, которые не присягают, и из инородцев, то есть: башкир, татар, мордвы, чуваш и вотяков, которым, разумеется, никакой не было надобности до законности прав престолонаследия, но которые, без сомнения, пришли бы в отчаяние, если б им объявили, что у них не будет царя. Сказывал мне, однакож, исправник, что на двух горных медеплавительных заводах, находившихся в нашем уезде и состоявших из одних раскольников, много было толков и что, по каким-то их соображениям, они ожидали, что цесаревич Константин будет благосклонен к староверам.

В начале 1826 года мои собственные печальные обстоятельства нарушили тишину и спокойствие моей деревенской жизни. Надежино никогда мне не нравилось, а тут

сделалось даже противным. Я решился ускорить мой переезд в Москву и в августе месяце, вместе с остальным семейством, навсегда простился с Оренбургским краем.

1826 год

1826 года, 8 сентября, часов в восемь вечера, в осеннюю звездную ночь остановилась наша карета перед Москвой, у Рогожской заставы. Москва, еще полная гостей, съехавшихся на коронацию из целой России, Петербурга и Европы, страшно гудела в тишине темной ночи, охватившей ее сорокаверстный Камер-коллежский вал. Десятки тысяч экипажей, скачущих по мостовым, крик и говор еще неспящего четырехсоттысячного населения производили такой полный хор звуков, который нельзя передать никакими словами. Это было что-то похожее на отдаленные, беспрерывные громовые раскаты, на шум падающей воды, на стукотню мельниц, на гуденье множества исполинских жерновов. Никакой резкий стук или крик не вырывался отдельно, все утопало в общем шуме, гуле, грохоте, и все составляло непрерывно и стройно текущую реку звуков, которая с такою силою охватила нас, овладела нами, что мы долго не могли выговорить ни одного слова. Над всей Москвой стояла беловатая мгла, сквозь которую светились миллионы огоньков. Бледное зарево отражалось в темном куполе неба, и тускло сверкали на нем звезды. И в эту столичную тревогу, вечный шум, гром, движение и блеск переносил я навсегда, из спокойной тишины деревенского уединения, скромную судьбу мою и моего семейства. В эту минуту с особенной живостью представилась мне недостаточность вещественных средств моих, непрочность надежд и все последствия такого неосновательного поступка… Но подорожную прописали, часовому скомандовали «подвысь» — и карета въехала в Москву.

Дом Кавелиных, в котором мы должны были остановиться, последний дом тогда у Спасской заставы, был очень недалеко, но люди долго происками его. Я сам не умел указать, как проехать, потому что с этой стороны никогда не подъезжал к нему. Наконец, кое-как отыскали дорогу. Хозяйки не было дома: она ночевала в Вознесенском монастыре у своей знакомой белицы, для того чтоб быть поближе к брату, который жил во флигеле Николаевского дворца, прямо против кабинета государя, и не имел свободного времени, чтоб ежедневно ездить для свидания с родными в Таганку.

На другой день отправился я прямо в контору театра, зная, что я, наверное, найду там Кокошкина, Загоскина и Писарева. Большой Петровский театр,[19] возникший из старых, обгорелых развалин, лет двадцать неприятно поражавших глаза московских жителей, — изумил и восхитил меня. Я еще горячо любил театр;

десятилетняя жизнь в оренбургской глуши, конечно, не могла охладить этой любви, и великолепное громадное здание, исключительно посвященное моему любимому искусству, уже одною своей внешностью привело меня в радостное волнение. Я вошел в контору; в первой комнате, занятой столами чиновников и множеством всякого театрального народа, спросил я о Кокошкине и Загоскине; мне отвечали, что они в «присутственной комнате»; я хотел войти в нее, но стоявший у дверей капельдинер в придворной ливрее не пустил меня, говоря, что «без доклада директору и без его дозволения никто туда войти не может». Напрасно я уверял, что директор мне приятель, что я хочу нечаянно его обрадовать, — капельдинер недоверчиво посматривал на мой поношенный, очень немодный сюртук и не согласился пустить меня. Делать было нечего. Я сказал свои имя и фамилию. Капельдинер растворил дверь и едва успел выговорить: «Сергей Тимофеич Аксаков», как Кокошкин, ходивший по комнате и говоривший с каким-то значительным господином, забыв свою обычную великолепную важность, выбежал ко мне навстречу и бросился обнимать меня… Загоскин же, услыхавши мое имя, как буря восстал из-за стола, разбрасывая бумаги, опрокидывая кресла, давя людей, ворвался в канцелярию, вырвал меня у Кокошкина и, говоря без преувеличения, едва не задушил в своих объятиях: впрочем, это была его обыкновенная манера. С радостными восклицаниями ввели они меня в свою присутственную комнату и снова принялись обнимать. Непритворная радость светилась на их лицах. Я был сердечно растроган. После нескольких отрывочных, взаимных вопросов и ответов я спросил о Писареве. Оба мои приятели вскрикнули от удивления, вспомнив, что он, по какому-то предчувствию моего приезда, поехал проведать обо мне в Таганку, потому что знал адрес дома, где я должен был остановиться. Значительный господин со звездою, видя, что директору не до него, раскланялся, и мы на свободе обо всем порасспросили друг друга, обо всем переговорили друг с другом. Я не был знаком лично с Верстовским и Щепкиным, и потому сейчас послали за ними на сцену, где репетировалась для завтрашнего вечера, новая тогда, комедия в стихах кн. Шаховского «Аристофан, или Представление комедии Всадники», которая игралась на московской сцене с большим успехом. Верстовский определился директором музыки в Московский театр во время моего отсутствия, Щепкин также без меня поступил на сцену; но мне столько об них писали, а им столько обо мне наговорили и Кокошкин, и Загоскин, и особенно Писарев, что мы заочно были уже хорошо знакомы и потому встретились, как

давнишние приятели, и даже обрадовались друг другу. «Да зачем же, милый, — сказал Кокошкин, обращаясь к Загоскину, — мы отвлекаем Михаила Семеныча от репетиции? Лучше мы поведем на сцену Сергея Тимофеича: он увидит там почти всю нашу труппу и наши будущие надежды». Я охотно согласился, и мы пошли на сцену. Я никогда не мог объяснить себе, отчего репетиция пиесы, разумеется, уже хорошо слаженной, даже в позднейшие годы часто производила на меня очень сильное и приятное впечатление. Я знал многих людей, которые утверждали, что никогда не надобно смотреть репетиции, если хочешь вполне почувствовать достоинство пиесы в настоящем представлении, — и трудно спорить против этого мнения; но на деле я испытывал другое. В этот же день, о котором я говорю, мне было весьма естественно предаться увлечению. Я не видел театра пять лет, прожив их безвыездно в деревне. Взволнованный своим переездом в Москву, горячим приемом моих старых и новых приятелей, а всего более притихшей на время и с новою силою вспыхнувшей моей страстью к искусству, взошел я на огромную, великолепную сцену Петровского театра, полную жизни, движения и людей, мелькавших, как тени, в полумраке, который сначала ослепил меня; гром музыки, пение хоров, пляски на празднике Вакха — все это вместе показалось мне чем-то волшебным. Я пригляделся к темноте, стал различать и узнавать людей; сцена очистилась, и мелодический, звучный, страстный голос Аристофана, в котором я не вдруг узнал молодого Мочалова, довершил очарование. Музыка, танцы, стихи, игра Мочалова и Синецкой, игра, которая в самом деле была хороша, показались мне тогда чем-то необыкновенным, даже каким-то совершенством. Во время антракта толпа актеров и актрис, певиц и танцовщиц всякого возраста окружила нас. Кокошкин не пропустил случая произнесть коротенькую, но торжественную речь ко всем, нас окружающим, в которой, представляя мне всю труппу, не поскупился наговорить мне великолепных похвал. Я возобновил мое знакомство с Синецкой и Мочаловым, который очень помнил, как отец заставлял его декламировать передо мною Полиника, и познакомился со многими, которых не знал. Тут в первый раз увидел я Сабурова и Рязанцева; Кокошкин назвал их блистательными надеждами московской сцены. Про Рязанцева и Щепкин шепнул мне: «Это наш капитал». Все меня встретили с необыкновенным радушием, как мне показалось тогда при моем настроении увлекаться. Репетицию стали продолжать; мы сели с Кокошкиным на помост храма Вакха, и он с патетическим одушевлением сказал: «Не правда ли, милый, что мы в Афинах? Шаховской ничего не написал, да и ничего не

напишет лучше Аристофана». Я не спорил. Я сам находился в каком-то упоении, да и пиесы не знал. — Очень мне хотелось дослушать репетицию «Аристофана», но я, несмотря на свое увлечение, вспомнил, что мне необходимо видеться с Кавелиным и что Писарев ждет меня в Таганке — иначе он давно бы воротился. Не слушая убедительных просьб Кокошкина остаться на полчаса, чтоб увидеть Синецкую в одной сцене, которую она, по словам его, превосходно играла, я извинился и уехал, дав, однако, слово Кокошкину, что завтра приеду смотреть «Аристофана» в его ложу или кресло. Кавелина я не застал; мне сказали, что он с сестрой уехал к нам, и я поспешил домой.

Точно, я нашел у себя дома Кавелина с его сестрой и Писарева. Много произошло перемен с Кавелиным с тех пор, как мы не видались. Из поручика или штабс-капитана Измайловского полка он сделался полковником, флигель-адъютантом и одним из самых близких людей к царствующему императору… Но все рассказы были отложены до более свободного времени, а теперь ему надобно было немедленно ехать, и мы простились. Писарев дожидался меня недаром. Кроме желания поскорее меня увидеть и обнять, ему нужно было предупредить меня, и, к сожалению, весьма невыгодно, об одном из близких со мною людей. Разумеется, мне это было больно и неприятно, потому что всегда неприятно ошибаться; но меня гораздо более огорчил сам Писарев: он был худ, бледен, глаза его потеряли свой прежний блеск, и он довольно часто кашлял. Зловещая мысль промелькнула у меня в голове, и сердце болезненно сжалось. Но я овладел собою и с наружным спокойствием выслушал невеселую повесть пяти лет, проведенных нами в разлуке. Здесь не место подробно рассказывать эту повесть, а скажу только, что я вывел из нее следующее заключение: Писарев, будучи от природы очень слабого сложенья, имел расположение к раздражительности, которая ужасно развилась в продолжение нашей разлуки. По несчастию, эта раздражительность никогда не выражалась во внешности; холодный по наружности, он рвался внутренно, и эта постоянная тревога сокрушила его здоровье. Причин к волненью было много: сначала блистательные успехи, и особенно на сцене, вскружили ему голову. Писарев, по-видимому, очень спокойно раскланивался из директорской ложи с публикой, вызывавшей его за каждую пиесу восторженными криками, но после каждого вызова у него была лихорадка. На поприще журнальной литературы он не захотел сойтись с издателем «Московского телеграфа». Он был прав, но, может быть, поступил слишком резко и нажил себе заклятого врага. Закипела страшная полемика. Писарев, умея наносить жестокие язвы своим

противникам, не умел равнодушно сносить никакой царапинки. Раздражительность, желчность ослепляли его, и в число его литературных врагов попали такие люди, которые заслуживали полного уважения по своим талантам. Публика любит петушиный бой, и, осыпая громкими рукоплесканьями острые и злые куплеты Писарева, она с таким же удовольствием читала язвительные выходки против него в «Московском телеграфе», не разбирая, справедливы они или нет. Публика тешилась, а бойцам была накладна эта потеха; для Писарева по крайней мере она была очень вредна. — Писарев говорил со мной много и долго, с внутренним волнением, от которого час от часу становился бледнее. Я поспешил остановить его и успокоить сколько мог. Он хотел было остаться до шести часов вечера, то есть до начала спектакля, но я, под разными предлогами, выпроводил его. Я знал, что, оставшись со мною, он не перестал бы рассказывать мне про свое прошедшее и настоящее и не перестал бы волноваться.

На другой день мы отправились в театр. Великолепная театральная зала, одна из огромнейших в Европе, полная зрителей, блеск дамских нарядов, яркое освещение, превосходные декорации, богатство сценической постановки, — все вместе взволновало меня более вчерашнего; я должен признаться, что был очарован «Аристофаном». Он был очень хорошо поставлен на московской сцене самим князем Шаховским, опытным знатоком и мастером этого дела. Шаховской имел необыкновенное искусство пользоваться всеми личностями, составляющими театральную труппу, и часто актер, считавшийся вовсе бесталанным, являлся в его пиесе, к общему изумлению зрителей, играющим свою роль очень хорошо. Я же, никогда не видавший большей половины актеров и актрис, был совершенно обманут — и господин Баранов (жалкая посредственность везде), в роли Казнодара Клеона, показался мне прекрасным актером. Щепкин занимал самую ничтожную роль Созия, состоявшую из нескольких строк, но и тут он умел так сказать ничего не значащий стих:

Гермес! петух твой улетел, —

что зрители громким смехом и рукоплесканием выразили свое удовольствие. Хотя я видел Щепкина на сцене в первый раз, но по общему отзыву знал, что это артист первоклассный, и потому я заметил Писареву, что немного странно играть такую ничтожную роль такому славному актеру, как Щепкин; но Писарев с улыбкою мне сказал, что князь Шаховской всем пользуется для придачи блеска и успеха своим пиесам и что

Щепкин, впрочем, очень рад был исполнить желание и удовлетворить маленькой слабости сочинителя, великие заслуги которого русскому театру он вполне признает и уважает. Князь Шаховской был болен и потому не приезжал на ту репетицию, которую я видел вчера; его не было также и сегодня на настоящем представлении; но он взял слово с Писарева, что Писарев вечером побывает у него и расскажет, как шла пиеса. Мне была очень понятна и приятна такая нежная и беспокойная заботливость автора о своем произведении. Синецкая была очень хороша в роли Алкинои, но я заметил, что средства ее несколько слабы для такой огромной сцены, на которой, правду сказать, никогда не следовало давать комедий, а только большие оперы и балеты. Шаховской знал это лучше всех; но как его пиеса была сопровождаема великолепным спектаклем, то есть множеством народа, певцов, певиц, танцовщиков и танцовщиц, то ее и нельзя было давать на сцене Малого театра. Великолепный спектакль — была также маленькая слабость Шаховского, как я после узнал. — Мочалов привел меня в восхищение. Сколько огня, сколько чувства и даже силы было в его сладком очаровательном голосе! Как он хорош был собой и какие послушные, прекрасные и выразительные имел он черты лица! Все чувства, как в зеркале, отражались в его глазах! Греческий хитон и мантия скрывали недостатки его телосложения и дурные привычки к известным движениям, которые и тогда были в нем уже заметны. Одним словом, я был очарован им и был уверен, что из него выдет один из величайших артистов. Впрочем, и Кокошкин и Писарев также восхищались и говорили, что он никогда так хорошо не играл Аристофана; они приписывали удачную игру Мочалова отсутствию князя Шаховского, который своим постоянным наблюдением и взыскательностию за каждое неверно сказанное слово приводил в смущение молодого актера: он старался играть как можно лучше и оттого играл хуже. Узнав от Писарева, что Мочалов дик в обществе порядочных людей, что он никогда не бывает в литературном кругу Кокошкина без официального приглашения, я тогда же составил план сблизиться, подружиться с Мочаловым, ввести его в круг моих приятелей у меня в доме и употребить все средства для его образования, в котором он, как я слышал, очень нуждался. Я так горячо этого желал, что не сомневался в успехе; я сообщил мои намерения Писареву, который, сомнительно покачав головой, сказал: «Дай бог тебе удачи больше, чем нам; ты скорее нас можешь это сделать; ты ему не начальник, и твоя бескорыстная любовь к театральному искусству придаст убедительность твоим советам, которые подействуют на него гораздо лучше директорских наставлений. Я

уверен, что Мочалов тебя полюбит, — а это самое важное». Обо всем этом я успел переговорить с Писаревым во время антрактов, ходя с ним по огромной сцене, представлявшей площадь в Афинах, в толпе театрального народа, превращенного в греков, в Вакховых жрецов и вакханок. Не откладывая дела в долгий ящик, по окончании пиесы, после шумного вызова Синецкой и Мочалова, я, с врожденною мне пылкостью, бросился к Мочалову и высказал ему мое восхищение, мои надежды, мое желание сблизиться с ним. В моих словах не было недостатка в искренности и в неподдельном горячем чувстве. Мочалов не умел хорошо выражать своих внутренних движений, но, очевидно, был тронут моим участием и в несвязных словах пробормотал мне, что сочтет за особенное счастие воспользоваться моим расположением и что очень помнит, как любил и уважал меня его отец. Несмотря на мои тридцать пять лет, я был еще очень молод, голова моя горела, и я в большом волнении отправился в свою уединенную и отдаленную Таганку.

На другой день вместе с Кавелиным поехали мы к П. П. Мартынову, который жил в Спасских казармах; с ним также произошла значительная перемена, равно с другим моим приятелем Воропановым. Ровно за десять лет оставил я их офицерами Измайловского полка: Мартынов был полковником, служакой, а Воропанов — капитаном, вовсе фрунтовой службы не знающим, потому что всегда находился адъютантом у полкового командира. Я был коротким приятелем с обоими и, прощаясь с ними в Петербурге в 1816 году, я убедительно доказывал, что им не следует оставаться в гвардии; оба не получили почти никакого образования и не имели никакого состояния. Я советовал им выйти в армию полковыми командирами, жениться на деревенских девушках с состоянием и зажить припеваючи, и что же? В 1826 году Мартынов служил гвардейским бригадным генералом, а Воропанов командовал гвардейским полком: оба были генерал-адъютанты. События 14 декабря выдвинули их вперед, потому что они имели случай показать свою преданность государю; впрочем, Мартынов, кроме титула известного фрунтовика, имел много душевных достоинств и был давно известен императору, когда он еще был великим князем и шефом Измайловского полка. Личность Мартынова заслуживала полного уважения; но для этого надо было знать его очень коротко и примириться с невыгодною внешностью. Мартынов был мой земляк, очень меня любил и обрадовался мне, как родному. Он вспомнил, что я советовал ему и Воропанову перейти в армию и, встряхнув своими золотыми эполетами и аксельбантом, засмеявшись, сказал мне, что предсказания мои не сбылись и что

незнание французского языка и *грамматики* не помешало ему занять такое высокое место и пользоваться милостью и доверенностью государя. Я искренно порадовался его возвышению и пожелал ему дальнейших успехов.

Александр Семеныч Шишков был в это время министром народного просвещения. Разумеется, я поспешил с ним увидеться. Я говорил уже в одном из моих воспоминаний, что он назначил меня цензором в московском, будущем, отдельном от университета, цензурном комитете, который должен был открыться через несколько месяцев. Это обстоятельство много облегчало для меня трудность московской жизни.

Через месяц опустела Москва от приезжих гостей. Двор, дипломатический корпус, министерства и гвардия воротились в Петербург, и Москва приняла свой обыкновенный, будничный характер. Я нанял себе большой дом на Остоженке, и мало-помалу начала устроиваться моя городская жизнь.

В продолжение этого времени я почти ежедневно бывал в театре и виделся с Кокошкиным, Загоскиным и Писаревым. Князь Шаховской недели две был болен и не выезжал из своей квартиры. Все трое моих приятелей, в том числе и Кокошкин, которого кн. Шаховской, как известно моим читателям, некогда бранил беспощадно, были с ним очень дружны и хотели немедленно повезти меня к нему; но я решительно отказался и объявил, что не намерен сближаться с Шаховским. Все думали, что я сержусь на него за петербургскую нашу встречу, случившуюся за десять лет при постановке на русскую сцену «Мизантропа», — но это было совершенно несправедливо. Я вовсе был неспособен к злопамятности, да и дело того не стоило. Мне даже досадны были слова Кокошкина, который не один раз говорил мне: «Нет, милый, ты все сердишься на Шаховского за меня. Поверь, что он это так. Он ведь пребешеный и когда взбеленится, то сам не помнит, что говорит; а злобы у него никакой нет, и он предобрый, он всех нас любит от всего сердца, хотя при случае, осердясь, и укусит». Загоскин, который о других судил по себе, у которого все были прекрасные люди, распинался за честность и доброту князя Шаховского. Даже Писарев, которого суд об людях был скорее строг, чем снисходителен, уверял меня, что кн. Шаховской — раздражительное, но добродушное дитя, что у него много смешных слабостей, что он прежде в Петербурге находился под управлением известной особы, что за нее прогнали его из петербургской дирекции, где заведывал он репертуарною частью, и что, переехав на житье в Москву на свою волю, так сказать, он сделался совсем другим человеком, то есть самим собою. Но предубеждение мое против князя Шаховского было

слишком сильно. Он имел множество врагов в Петербурге, которые составили ему весьма дурную славу в обществе. С самых молодых лет я привык считать кн. Шаховского притеснителем Шушерина, интриганом, гонителем великого таланта Семеновой, ласкателем, угодником людей знатных и сильных и, наконец, заклятым врагом Озерова, которого он будто бы преследовал из зависти и даже, как утверждали многие, был причиною его смерти. Вследствие таких-то предубеждений и слухов, которым я более или менее верил, сколько меня ни уговаривали, я не поехал к Шаховскому; когда же он выздоровел, я старался не встречаться с ним, и как этого совершенно избежать было невозможно, то я отделывался учтивым поклоном. Общие приятели наши наговорили много доброго обо мне Шаховскому, и он еще до моего приезда желал коротко со мной познакомиться и подружиться. При первой встрече у Кокошкина он, как хозяин, должен был познакомить нас с Шаховским. Не упоминая о нашей прежней, довольно близкой встрече, мы отрекомендовались друг другу, как люди, которые видятся в первый раз в жизни. Шаховской впился было в меня со всею ласковостью своей забавной болтовни, но скоро моя сухость и холодность укоротили его неумолкаемый язык, и он должен был оставить меня в покое. При следующем свидании вторичная попытка князя Шаховского сблизиться со мной также была неудачна. Я упрямился, хотя видел, что такое положение огорчало всех моих приятелей, что оно нарушало согласный строй дружеских собраний всего нашего круга. Шаховской приставал с расспросами к Кокошкину, Загоскину и Писареву: что значит мое отчуждение? и они были в затруднении, что отвечать на такие вопросы. Наконец, Писарев решился поступить прямо и откровенно; он сказал Шаховскому, что я, наслышавшись много дурного о нем, не хочу с ним войти в приятельские отношения. Шаховской огорчился и в свою очередь поступил так же прямо: он приехал ко мне сам и рассказал мне искренно и добродушно всю историю своей службы при Петербургском театре; рассказал мне несколько таких обвинений против него, каких я не знал, и, опровергнув многое положительно, заставил меня усомниться в том, чего опровергнуть доказательствами не мог. Я был побежден, протянул руку Шаховскому — и не имел причины раскаиваться. С каждым днем узнавая короче этого добродушного, горячего до смешного самозабвения и замечательно талантливого человека, я убедился впоследствии, что одну половину обвинений он наговорил и наклепал сам на себя, а другая произошла от недоразумений, зависти и клеветы петербургского театрального мира, оскорбленного, раздраженного нововведениями князя

Шаховского: ибо при его управлении много людей, пользовавшихся незаслуженными успехами на сцене или значительностью своего положения при театре, теряли и то и другое вследствие новой системы как театральной игры, так и хода дел по репертуарной части. К этому должно прибавить, что князь Шаховской, не видя никакой возможности переучить или переделать на свой лад людей старых и даже не старых, но уже закоренелых в старой методе сценических традиций, выбрал несколько молодых людей и образовал их по-своему. Правда, однакож, и то, что он был пристрастен к ним и видел в них великие таланты, тогда как они имели от природы мало дарований. Впрочем, тем более чести им. Они, под руководством более светлого, истинного взгляда на искусство, переданного им князем Шаховским, умели сделать из себя таких артистов, которые долго были украшением петербургской сцены и пользовались в свое время громкою славою и полным сочувствием снисходительной и благодарной петербургской публики. Это поучительный пример для людей с положительным талантом, блистательно начинающих и потом от лени, неуважения к труду, от непонимания искусства переходящих в жалкую посредственность. Я знаю, что и теперь, назвав актеров, любимцев князя Шаховского, по имени, я вооружу против себя большинство прежних любителей театрального искусства; но, говоря о предмете столь любезном и дорогом для меня, я не могу не сказать правды, в которой убежден по совести. Эти актеры были: Брянский, Сосницкий, г-жи Валберхова и Ежова. Первые трое, лично ни в чем не виноватые, возбуждали только зависть; но последняя госпожа была самою главною причиною дурной славы князя Шаховского. Имея на него большое влияние, она умела раздражать его, а в раздражении Шаховской бывал иногда несправедлив и на словах и на деле. Всего хуже было то, что Шаховской, несмотря на свою вспыльчивость, проходившую мгновенно, не умел, не смел и не мог обуздать неизвинительных поступков этой женщины; все это падало на князя Шаховского, и, конечно, все имели полное право обвинять его.

Возвращаюсь к моему рассказу. К общему удовольствию нашего круга, объяснившись, мы сошлись с Шаховским очень скоро и сделались короткими приятелями. Почти весь наш круг был составлен из людей, служащих при театре, пишущих для театра, и театралов по охоте. Присутствие кн. Шаховского, поселившегося в Москве на неопределенное время, первого драматического писателя, первого знатока в сценическом деле, преданного ему всем существом своим, еще более всех одушевляло. Хотя Кокошкин сам очень любил ставить пиесы на

сцену, но он благодушно признавал превосходство кн. Шаховского, называл его «первым сценическим мастером» и уступал ему свои права. Это время можно назвать одним из лучших для Московского театра: Щепкин, в полной зрелости своего таланта, работая над собою буквально и день и ночь, с каждым днем шел вперед и приводил всех нас в восхищение и изумление своими успехами. Может быть, публика этого и не замечала; но мы, страстные любители театра и внимательные наблюдатели, видели, что с каждым представлением даже старых пиес Щепкин становился лучше и лучше. Блестящий, ослепительный и увлекательный талант Мочалова развивался, без его ведома, всегда неожиданно и не там, где можно было надеяться этого развития. Он приводил нас то в восторг, то в отчаяние. Сам князь Шаховской впоследствии боялся давать ему советы и часто говорил: «Беда, если Павел Степаныч начнет рассуждать; он только тогда и хорош, когда не рассуждает, и я всегда прошу его только об одном, чтобы он не *старался* играть, а старался только не думать, что на него смотрит публика. Это гений по инстинкту; ему надо выучить роль и сыграть; попал, так выйдет чудо; а не попал, так выйдет дрянь». И такое определение было совершенно справедливо. Сабуров и Рязанцев, особенно последний, оба имели драгоценное и редкое качество на сцене: веселость. Впрочем, Рязанцев был гораздо выше по таланту; в его игре была такая простота, такая естественность, какой тогда еще не видывали. Он имел один недостаток, мало заметный по комическому характеру его ролей: игра его была холодновата; но говорят, что впоследствии, уже в Петербурге, у него начинала проявляться теплота и одушевление представляемого лица. Если это правда, то Рязанцев должен был достигнуть степени великого артиста. Отчетливая, умная, благородная игра Синецкой, которой вредили иногда советы Кокошкина, свежее дарование Репиной, прекрасная старуха и баба-хлопотунья — Кавалерова, Лавров, Степанов и другие, менее замечательные дарования, — не говорю о богатых надеждах театральной школы, иногда появлявшихся на публичном театре, — все это вместе придавало московской сцене высокое достоинство. Водевили Писарева разыгрывались с неподражаемым совершенством. Публика горячо сочувствовала и сочинителям и актерам, и в партере театра было так же много жизни и движения, как и на сцене.

Загоскин, с таким блестящим успехом начавший писать стихи, хотя они стоили ему неимоверных трудов, заслуживший общие единодушные похвалы за свою комедию в одном действии под названием «Урок холостым, или Наследники»

[После блестящего успеха этой комедии на сцене, когда все приятели с искренней радостью обнимали и поздравляли Загоскина с торжеством, добродушный автор, упоенный единодушным восторгом, обняв каждого так крепко, что тщедушному Писареву были невтерпеж такие объятия, сказал ему: «Ну-ка, душенька, напиши-ка эпиграмму на моих «Наследников»!» — «А почему же нет», — отвечал Писарев и через минуту сказал следующие четыре стиха:

Комический давнишний проповедник
«Наследников» недавно написал
И очевидно доказал,
Что он Мольеров не наследник.

Громкий смех и одобрение встретили эту импровизированную эпиграмму, и можно себе представить, как был озадачен Загоскин. Писарев особенно отличался необыкновенной находчивостью, быстротой своих эпиграмм, сказанных или написанных часто в одну минуту, без всякого приготовления. Вот еще случай в доказательство моих слов: после одного из предварительных заседаний Общества любителей русской словесности при Московском университете, в котором было читано переложение нескольких псалмов М. А. Дмитриева, члены стали хвалить их, но Писарев молчал. Спросили его мнения, и он, взяв лежащий перед ним листок бумаги, написал следующее:

Шатров и Дмитриев, Полимнии сыны,
Давида вызвали из гроба.
Как переводчики, хоть тем они равны,
Что хуже подлинника оба.]

— решился написать большую комедию в четырех актах, а именно: «Благородный театр». Мы были с ним очень дружны, и он первому мне открылся в своем намерении. Эта комедия долго его занимала. Он имел возможность сделать много наблюдений по предмету ее содержания и заранее придумал множество забавных сцен и даже множество отдельных стихов с звучными и трудными рифмами, до которых он был большой охотник, — а между тем твердого плана комедии у него не было; я убедил его, чтобы он непременно написал, так сказать, остов пиесы и потом уже, следуя своему плану, пользовался придуманными им сценами и стихами. Загоскин послушался меня, писал несколько дней — и

ничего не написал. Рассердился, разбранил меня за мой совет, себя — за то, что последовал ему, и решился засесть за работу без всякого плана и писать что ему придет в голову. Трудно себе вообразить, каких тяжелых усилий стоил ему каждый стих. Вот была поистине египетская работа. У Загоскина не было музыкального уха, и он никак не мог различить пятистопного стиха от семистопного и, пожалуй, от восьмистопного. Часто приходил он в бешенство, когда в написанных им стихах, стоивших ему продолжительной работы и которыми, наконец, он был очень доволен, — вдруг находил я то пять с половиною стоп вместо шести, то семь вместо шести с половиной, то неправильное сочетание рифм, то цезуру не на месте… Часто горячился он, сердился и даже не верил мне. Нередко случалось, что не было другого средства убедить его, как разделить стих черточками на слога и стопы. Даже при таком очевидном доказательстве иногда Загоскин спорил, и, наконец, я уговорил его призвать на помощь еще Писарева, которому в этом отношении он совершенно верил и с которого взял честное слово не открывать никому секрета, как он пишет комедию. Нельзя поверить, читая его прекрасные, звучные и свободные стихи, чтобы они выковывались так медленно, и так тяжело, и таким человеком, который был совершенно лишен музыкального уха для стихов. Загоскин писал свою комедию с лишком год, и она явилась на сцене только 29 декабря 1827 года. — Кокошкин также начинал писать большую комедию в стихах, под названием «Воспитание», и еще до моего приезда перевел комедию Делавиня «Урок старикам», которая давалась с большим успехом на сцене. — Писарев переводил водевиль «Дядя напрокат» для бенефиса капельмейстера Шольца; водевиль этот должен был идти в первых числах генваря наступающего 1827 года; но Писарев уже чувствовал, что пора приняться за что-нибудь более серьезное, более достойное его таланта, «пора перестать набивать руку», как он сам говаривал, «на водевильных куплетах», хотя они очень нравились публике. У него был задуман план большой комедии «Христофор Колумб». Он постоянно обработывал его и уже написал пролог.[20]

— Князь Шаховской и подавно не оставался праздным. Кроме большой комедии-водевиля «Притчи, или Езоп у Ксанфа», подражание французскому, он задумал написать трагедию «Смольяне», которая и была впоследствии написана и даже сыграна, но никакого успеха не имела.

Весь пыл полемических схваток Писарева с издателем «Телеграфа» происходил без меня; тем не менее враждебность

была и теперь в полной силе в обеих сторонах. Прекратились выходки Писарева в остроумных куплетах на Полевого и кн. Вяземского, возбуждавших страшный шум в театре, который выражал борьбу двух партий; но не прекратилось взаимное ожесточение и росла взаимная неправость обеих сторон. Круг людей, в котором я жил, был весь против Полевого, и я с искреннею горячностью разделял его убеждение. Теперь можно хладнокровно рассуждать о прошедшем и находить даже пользу в существовании «Московского телеграфа» — пользу отрицания. Отрицание было необходимо, и Полевой, имевши много русской сметливости, ловкости, не лишенный даже некоторого дарования, служил выражением этого отрицания. Он ничего почти не сказал нового, своего; все было более или менее известно во всех кругах образованных обществ, обо всем этом говорили и спорили московские литераторы; но Полевой первый заговорил об этом печатно, и заговорил с тою решительною дерзостью, к которой бывает способно самонадеянное, поверхностное знание дела и которая в то же время всегда имеет успех. Очень приятно низвергать с высоты почетные имена, ломать давно утвердившиеся репутации — и жадно бросается молодость на такой строгий суд, совершающийся во имя правды! Самые те люди, которые давно уже, хотя, может быть, не ясно, не положительно, имели подобные мысли, обрадовались, увидя их в печати, и даже сочли новыми. Об остальной публике нечего и говорить. Большинство было на стороне Полевого; но торжество «Телеграфа» еще более, и законно, раздражало его противников и доводило ожесточение до крайних пределов. Впрочем, должно сказать, в извинение им, что тяжело, оскорбительно было видеть, как самоуверенно судил Полевой часто о таких предметах, о которых он не имел надлежащего понятия. Самая правда, которую он все же иногда высказывал, как человек умный, была под его пером так же невыносима для его противников и так же раздражала. Я не намерен распространяться об этой полемике, которая впоследствии вышла из всяких пределов приличия и сделалась вовсе не литературною. Я сам был, к сожаленью, одним из наиболее раздраженных, следственно и не всегда справедливых, деятелей и неохотно вспоминаю об этом времени; притом же еще нельзя говорить обо всем откровенно: еще живут многие, принимавшие горячее участие в этой борьбе или слишком близкие к бойцам, погибшим рановременно.

Шестнадцатого декабря, в бенефис актера Воеводина, была дана комедия-водевиль кн. Шаховского, о которой я уже говорил: «Притчи, или Езоп у Ксанфа». Содержание пиесы, совершенно чуждое нашей жизни, мало имело достоинства, и только уменье

кн. Шаховского все приладить к русской сцене, сообразно со средствами актеров и актрис, дало успех этой комедии, или водевилю. Разумеется, Щепкин играл Езопа и с большим искусством читал басни в стихах, взятые у Езопа французскими и немецкими баснописцами и от них уже перешедшие в русскую литературу. Тут были басни Хемницера, И. И. Дмитриева и Крылова, о высоком достоинстве которых говорить не нужно. Еще с большим искусством передавал Щепкин лукавство раба, который изобрел притчу как средство выражать перед своим властелином свою потаенную мысль, которую прямо сказать нельзя. Много работал над этой ролью Щепкин, чтоб по возможности скрыть себя, свою горячность и свои приемы под личиною Езопа. Кн. Шаховской и все мы с восхищением смотрели на этого истинного артиста, который трудился неутомимо. Но Шаховской не был им вполне доволен и уверял меня, что петербургский актер Брянский в этой роли гораздо лучше. Впоследствии я видел Брянского в Езопе и не согласен с Шаховским. Точно, у Брянского было больше простоты, ибо Щепкин никогда не мог отделаться вполне от искусственности, которая была слышна в самой естественной игре его; точно, некоторые басни Брянский читал гораздо лучше; но уже во всем остальном не было сравнения: зритель не видел и не слышал в нем, несмотря на покорную наружность, — хитрого, тонкого, лукавого раба, кипящего внутренним негодованием. А в этом-то и был превосходен Щепкин. В том же декабре было два бенефиса: Мочалов дал «Поликсену», трагедию Озерова, а Синецкая — большую комедию в стихах, в пяти действиях, сочинения Головина, под названием «Писатели между собой». Обе пиесы не имели успеха. Синецкая была не Клитемнестра, да и Мочалов не Ахиллес, хотя некоторые порывы и страстные движения были выражены им прекрасно. Не помогли и блестящие стихи Озерова, тогда еще всех приводившие в восхищение. Так называемая классическая трагедия начинала уже колебаться и сходить со сцены. Комедия же Головина вполне доказала, что один набор слов и мыслей, высказанных в довольно гладких и бойких стихах, еще ничего не значит. В октябре 1826 года вышел драматический альбом с нотами, изданный Верстовским и Писаревым.

Собственно с 1827 года началась в Москве эта изумительная театральная деятельность князя Шаховского. В прошедшем году он поставил на московскую сцену также довольно пиес, но уже игранных на Петербургском театре. Замечательнее других были опера «Сусанин», водевили: «Ломоносов», «Пурсоньяк-Фалелей», «Ворожея» и «Феникс, или Утро журналиста», а из комедий — «Пустодомы» и «Аристофан». В 1827 же году он беспрестанно

писал и ставил новые пиесы. Эта напряженная деятельность, эта беспрерывная работа во всех родах драматических сочинений, без сомнения, были вредны цельности таланта и правильности его развития. Отчасти это проистекало от добродушного и легкого характера: Шаховской не мог отказать никому из актеров или актрис, которые, разумеется, во зло употребляли его снисходительность. Он беспрестанно сочинял, переводил или переделывал для их бенефисов оперы, водевили, комедии, трилогии, романтические зрелища и проч. и проч. Довольно проследить с точностью его авторскую производительность только в 1827 году;[21] из этого можно будет сделать посылку на все прежние годы его петербургской деятельности. Какой замечательный и даже серьезный талант не растратится на такие мелочные и часто пустые произведения! Чтобы сделать бенефисные пиесы заманчивыми для публики, Шаховской прибегал к помощи музыки, танцев, декораций и даже превращений. На упреки за такую смесь он обыкновенно отвечал: «Все искусства — братья и должны помогать на сцене один другому».

Чтобы иметь о князе Шаховском полное понятие, надобно было видеть, как он ставил на сцену пиесу, свою или чужую — это все равно. Я беспрестанно это видел и всегда с любопытством и удовольствием. Конечно, если бы перенесть человека, чуждого театральному делу и равнодушного к театральному искусству, на сцену или в одну из боковых зал, где идет репетиция пиесы при кн. Шаховском, то он бы расхохотался и счел его за сумасшедшего; даже я, тогда еще страстно любивший театр, иногда не мог удерживаться от смеха; но зато часто я восхищался Шаховским. Весь проникнутый любовью к искусству, не чувствуя ни жара, ни холода, не видя окружающих его людей, ничего не помня, кроме репетируемой пиесы, никого не зная, кроме представляемого лица, — Шаховской часто был великолепен, несмотря на свою смешную, толстую фигуру, свой длинный птичий нос, визгливый голос и картавое произношение. По вспыльчивости своей он часто выходил из себя; но бешенство его не всегда и не вдруг обнаруживалось неистовыми криками, воплями или бормотаньем никем не понимаемых слов; нет, нередко сначала оно скрывалось под напряженным спокойствием, равнодушием, шутками, и потом уже следовал взрыв и полное самозабвение; в этих-то принужденных шутках подавленного бешенства Шаховской был неподражаемо забавен. Можно было бы рассказать множество истинных происшествий в доказательство справедливости моих слов; но эти анекдоты потеряют много в рассказе, потому что никакое точное описание не может дать

настоящего понятия о личности незабвенного кн. Шаховского: эти анекдоты надобно разыгрывать, а не рассказывать. Я попытаюсь, однако, передать моим читателям одну из бесчисленных выходок нашего комика, которая случилась именно в этом году. В Москву приехала из Петербурга г-жа Ежова, чтобы сыграть несколько раз в пользу московской дирекции и потом получить бенефис, как это обыкновенно водилось, да и теперь водится. В репертуаре г-жи Ежовой, между прочим, назначена была небольшая опера «Любовная почта», уже несколько лет сочиненная кн. Шаховским и давно не игранная на московской сцене. Сочинитель ее думал, что г-жа Ежова — совершенство в этой пиесе, и непременно требовал, чтобы ее сыграли. Актеры подучили свои роли, назначили репетицию, и мы с Писаревым отправились в театр вместе с кн. Шаховским. Он с самого начала был уже недоволен плохим знанием роли и вялым ходом репетиции; она шла на сцене Большого театра. Сначала кн. Шаховской несколько раз вскакивал с своих кресел, подбегал то к тому, то к другому актеру или актрисе, стараясь ласкою, шуткою и собственным одушевлением оживить, поднять тон действующих лиц; так, одному говорил он: «Василий Петлович, ты, кажется, устал; велно, позавтлакал и хочешь уснуть. Ведь ты не слыхал, что тебе сказал Федор Антоныч. Ведь он тебя обидел, а ты не сердишься…» Тут Шаховской начинал повторять прерванную речь из роли Василья Петровича, немилосердно коверкая и совершенно перевирая слова собственной своей пиесы. — Трудно было удержаться от смеха. — Молодая актриса, игравшая роль любовницы, говорила с спокойным видом, как показалось кн. Шаховскому, о своем весьма затруднительном положении. Шаховской вспыхнул: «Дусенька, — закричал он, — ну как же тебе не стыдно, как же тебе не глешно, ведь тебе совсем не жаль человека, который тебя так любит, ты, велно, забыла о нем, ведь ты подумала, что сказываешь урок своей мадаме,[22] а ты вообрази, что это N. N.», — и он назвал по имени человека, к которому, как думали, была неравнодушна молодая актриса… Тут уже никто не мог удержаться от смеха. Вялое пенье хора, тогда как он должен был выражать живое и горячее волнение, окончательно взбесило Шаховского. Он бросился в толпу хористов, передразнивая то того, то другого, называя их блинниками, сапожниками и показывая собственным примером, как надобно петь и выражать живое сочувствие к тому, что поешь. Это было уже до того смешно, что мы с Писаревым уходили хохотать за кулисы. Наконец, видя безуспешность своих стараний, Шаховской присмирел, впал в немое отчаяние и уже не говорил ни одного слова. Репетиция тянулась по-прежнему вяло. Игрою

Катерины Ивановны Ежовой кн. Шаховской также был недоволен и тихо бормотал, что не узнает ее. Вдруг пришла сцена, в которой Ежова должна была петь какую-то длинную арию. Актриса несколько раз ошибалась. Шаховской, сидя в креслах, только кланялся ей при всякой ошибке; он молчал, но лицо его выражало такую комическую скорбь, что поистине было и жалко и смешно смотреть на него. Хотя г-жа Ежова коротко знала автора по петербургской сцене, привыкла к его безумным вспышкам и, будучи неуступчивого нрава, никогда ему не покорялась, а, напротив, заставляла его плясать по своей дудке, но в Петербурге она была дома, как будто в своей семье, — здесь же совсем другое дело; она сама приехала в гости в Москву, и сцена Большого Петровского театра, полная разного народа, казалась ей чужой гостиной. Ежова, видимо, сконфузилась наружным спокойствием Шаховского, зная, что это тишина перед бурей, забыла роль и, когда опять пришлось ей петь, запела стихи из другой оперы… Кн. Шаховской незаметно сполз с своих кресел, стал на колени и повалился ей в ноги. Репетиция остановилась. Шаховской долго не переменял своего положения, бормоча самым жалостливым, пискливым голосом: «Господи, за что ты меня наказуешь! Помилуй меня, грешного! Покорнейше благодарю, матушка, Катерина Ивановна…» и вдруг, вскочив с бешенством разъяренного тигра, завопил диким, нечеловеческим, каким-то калибановским голосом: «Так это свои-то? свои-то… Сначаля! До завтра, сначаля!..» Это, наконец, становилось уже не смешно. На сцене было холодно, все были в шубах, в шляпах или шапках; Шаховской в одном фраке и с открытой головой; лицо его горело, слезы и пот катились по щекам, и пар стоял над его лысиной. Тогда мы все бросились к нему, стараясь его успокоить — и как легко это было! В одну минуту прошло его бешенство, он просил прощенья у всех и сам первый смеялся над своими выходками. Никто не сердился, охотно простили авторскую горячность, возобновили репетицию сначала, и она сошла гораздо лучше. Одна Катерина Ивановна не простила и целый день при нас язвила своим неумолимым языком смирного уже, как овечка, жалкого кн. Шаховского. — Таков был этот человек, на которого так много наклеветали добрые люди и который, конечно, более всех наклепал на себя сам. Я слыхал на него обвинения в том, что всегда было противно его чувствам и убеждениям. Я слышал, например, что Шаховского называли неверующим, а он был не только верующий, но очень богомольный человек, даже немножко ханжа, что не мешало, впрочем, проявляться иногда его невинному детскому кощунству, — остаток недавней эпохи, уже исчезавший. Я сам сначала, заметив его некоторые выходки, не

хотел верить, что он так богомолен. Один раз Писарев спросил меня: знаю ли я, отчего у Шаховского на лбу коричневое пятно? Я отвечал, что не знаю, и Писарев рассказал мне, что кн. Шаховской каждый день, особенно по ночам, по нескольку часов молится богу, а как ему по толщине почти невозможно кланяться в землю, то он обыкновенно стоит на коленях и даже иногда лежит врастяжку и, крестя свой лоб, стукается им об пол. Я посмеялся и сказал, что это выдумка; но в непродолжительном времени вот что я увидел своими глазами: Шаховской любил в коротком приятельском обществе играть в карты; мы с Писаревым — тоже. У нас образовалась карточная приятельская игра. К нам пристали Загоскин, Кокошкин и другие. Обыкновенно мы играли в «мушку»; главным интересом игры была горячность Шаховского и Загоскина; нередко они до того ссорились, что, казалось, и помириться нельзя; но чрез несколько минут они были друзья по-прежнему. Один раз заигрались мы часов до двух утра. Простившись поспешно с хозяином, мы разъехались в разные стороны; со мной был Писарев; недалеко отъехав, я вспомнил, что забыл у Шаховского в кабинете нужную мне книгу; я воротился; по обыкновению, никого не нашел в лакейской, а также и в зале; заглянул к хозяину в кабинет и увидел, что он буквально лежит врастяжку, шепчет молитву и стукается лбом об пол. Я не захотел его встревожить, без книги воротился к Писареву и сказал ему, что он совершенно прав насчет коричневого пятна.

Мне пришел теперь на память очень смешной случай, почти современный сейчас мною рассказанному, который мог бы соблазнить всякого доброго человека, не коротко знавшего кн. Шаховского, насчет его православия. Я уже говорил, что Мочалов то восхищал, то огорчал нас своей игрой. Один раз, когда давали комедию «Пустодомы», кн. Шаховской как-то опоздал и приехал в директорскую ложу Кокошкина к концу первого акта. Мы поспешили ему сказать, что сегодня Мочалов бесподобен, и Шаховской сел так, чтобы его не было видно. Зрителей было мало; Мочалов играл, как говорится, спустя рукава, и был неподражаемо хорош. Какая натура, какая правда, простота, тонкость в малейших изгибах, в малейших оттенках человеческой речи, человеческих ощущений! Мы были просто поражены совершенством его игры. Чтоб не смущать Мочалова, Шаховской не показывался, а мы решились даже не ходить на сцену во время антрактов, как это обыкновенно бывало. В продолжение всей комедии кн. Шаховской то бесновался от восторга, то умилялся до слез. По окончании пиесы мы поспешили в уборную, где переодевался Мочалов, и восхищенный автор едва не бросился перед ним на колени. Шаховской обнимал, целовал в голову

удивленного, недовольного собою Мочалова и дрожащим от радости голосом говорил: «Тальма? — какой Тальма! Тальма в слуги тебе не годится: ты был сегодня бог!» — Через несколько дней после этого спектакля, когда Шаховской находился еще в упоении от игры Мочалова в роли князя Радугина, приехал в Москву из Петербурга какой-то значительный господин, знаток и любитель театра, давнишний приятель князя Шаховского. При первом разговоре о театре петербургский гость выразился как-то с неуважением о таланте Мочалова. Шаховской вспыхнул, превознес московского актера похвалами и, чтоб совершенно убедить своего старинного приятеля, упросил Кокошкина повторить комедию «Пустодомы». Зная хорошо Мочалова, мы скрыли от него причину скорого повторения комедии и, чтобы лучше обмануть и не смущать его, Шаховской даже не поехал на репетицию. В день представленья мы все собрались у Кокошкина в ложе; петербургского гостя усадили на почетном месте; Шаховской был весел, но вдруг смутился, когда кто-то прочел вслух афишу: вместо Ширяева, который очень хорошо играл роль Радимова, дебютировал в ней переходивший из Петербурга на московскую сцену актер Максин-старший. Шаховской очень поморщился, потому что не жаловал этого актера, и пробормотал себе под нос: «Боюсь, боюсь я его плоповеди». Но Кокошкин поспешил его успокоить, уверяя честным словом, что Максин будет лучше, что он сам им занимался. Но, увы, беда произошла не от Максина: Мочалов как-то узнал, что его будет смотреть значительная особа из Петербурга, узнал, что Шаховской хочет похвастаться его игрою, и — *постарался* … Он был невыносимо дурен. Шаховской бесился, приписывая эту перемену новому актеру, который, правду сказать, был очень нелеп в своей роли. Каждое его слово и движение осыпал Шаховской бранью и проклятием. Наконец, совершенно вышел из себя и, когда Максин подошел поближе к директорской ложе, Шаховской, будучи уже не в состоянии говорить, начал высовываться из ложи и дразнить языком бедного актера. Кокошкин, схватив его за руки, усадил в кресла, в глубине ложи, и умиленным голосом произнес: «Помилуй, князь! Что ты делаешь? За что ты его обижаешь и конфузишь? Ведь он прекраснейший человек!» — «Федоль Федолычь, — бормотал, дрожа от бешенства, не помнивший себя Шаховской, — я лад, что он плекласнейший, доблодетельнейший человек, пусть он будет святой, — я лад его в святцы записать, молиться ему стану, свечку поставлю, молебен отслужу, да на сцену-то его, лазбойника, не пускайте!..» Ну, что должен был подумать о религиозности князя Шаховского человек, не совершенно близко его знающий? Конечно, чрез минуту

Шаховской уже крестился и вопил: «Господи! плости мое соглешение!» И мы уже знали, что он мысленно клал на себя эпитимью из нескольких десятков лишних поклонов!

Впрочем, добродушие кн. Шаховского, его страстная, бескорыстная любовь к театру и сценическому искусству были так известны всем, что никто не сердился за его безумные вспышки, да и нельзя сердиться на того, кто смешит. К этому надобно прибавить, что припадки бешенства проходили у него мгновенно и заменялись самым любезным и забавным раскаяньем; он так умел приласкать или приласкаться к обиженному им лицу, что нельзя было не простить и даже не полюбить его от души.

Начинаю продолжение моих «Воспоминаний» пополнением сделанного мною пропуска. Я ни слова не сказал о замечательном спектакле, которого был самовидцем в 1826 году, вскоре по приезде в Москву. Это был спектакль-гратис[23] для солдат и офицеров. Фрака не было ни одного в целом театре, кроме оркестра, куда иногда и я приходил; остальное же время я стоял или сидел за кулисами, но так глубоко, чтобы меня не могли увидеть из боковых лож. Спектакль этот шел 13 сентября. В шесть часов вечера я приехал в театр. Ни одного экипажа не стояло около него. Я заглянул в директорскую ложу и был поражен необычайным и невиданным мною зрелищем; но чтоб лучше видеть полную картину, я сошел в оркестр: при ярком освещении великолепной залы Большого Петровского театра, вновь отделанной к коронации, при совершенной тишине ложи всех четырех ярусов (всего их находится пять) были наполнены гвардейскими солдатами разных полков; в каждой ложе сидело по десяти или двенадцати человек; передние ряды кресел и бельэтаж, предоставленные генералам, штаб-и обер-офицерам, были еще пусты. Скоро стали наполняться и они, кроме последних двух рядов кресел, которые наполнились вдруг перед самым приездом государя. Всего более поражала меня тишина, которая безмятежно царствовала при таком многочисленном стечении зрителей; даже на сцене и за кулисами было тихо или по крайней мере гораздо тише обыкновенного, несмотря на то, что все актрисы и актеры, танцовщицы, хористы и проч. были давно одеты и толпились на сцене. Некоторые посматривали сквозь занавесь на чудный вид залы и лож, полных невиданными зрителями в разноцветных мундирах, сидящими неподвижно, как раскрашенные восковые фигуры. Все служащие при театре, которым следовало тут присутствовать, были в мундирах. Наконец, пробежал слух, что сейчас приедет государь, — и Кокошкин, Загоскин и Арсеньев поспешили его встретить у

подъезда. Через несколько минут в боковую малую императорскую ложу вошел государь и, не показываясь зрителям, сел на кресло в глубине ложи; в большой царской ложе помещались иностранные послы. По данному знаку загремел оркестр и через несколько минут, не дожидаясь окончания увертюры, поднялась занавесь и началась известная, очень забавная комедия князя Шаховского *«Полубоярские затеи»*, за которою следовал его же водевиль *«Казак-стихотворец»*. Я слышал, что обе пиесы были назначены самим государем. Тишина не прерывалась, и я не могу описать, какое странное действие она на меня производила. На сцене кипела жизнь, движение, звучали людские речи, а кругом царствовали безмолвие и неподвижность! Если б пиеса давалась в пустом театре, то это было бы естественно; но театр был полон людьми от верху до низу. Я сидел в самой середине оркестра и видел, что государь часто смеялся, но не хлопал — и ни малейшего знака одобрения или участия не выражалось между зрителями. Все актеры, начиная со Щепкина, игравшего главную роль Транжирина, до последнего официанта, все играли совершенно свободно; а Щепкин, как говорили видавшие его прежде в этой роли, превосходил самого себя. Я не удивлялся Щепкину: это такой артист, для которого зрители не существуют; но я удивлялся всем другим актерам и актрисам. Я думал, что эта подавляющая тишина, это холодное безучастие так на них подействуют, что пиеса будет играться вяло, безжизненно и роли будут сказываться наизусть, как уроки, которые сказывают мальчики, не принимающие в них никакого участия, стоя перед своим строгим учителем; но комедия шла живо и весело, как будто сопровождаемая теплым сочувствием зрителей. Пиесы кончились точно так же тихо, как и начались. Государь уехал; театр ожил, зашумел, зрители в ложах встали и стройно, без всякой торопливости и суеты, начали выходить. Я поспешил увидеть, как эти маленькие, отдельные кучки станут соединяться в толпы, выходя из театра. Все происходило в удивительном порядке. Я сел на дрожки и отправился в свою Таганку. По всей дороге я обгонял множество солдат, идущих уже вольно и разговаривающих между собою. Это тоже было необыкновенное зрелище. В глухом гуле и мраке ночи, по улицам довольно плохо освещенной Москвы, особенно когда я переехал Яузу, по обоим тротуарам шла непрерывная толпа людей, веселый говор которых наполнял воздух. Солдаты шли по одной со мной дороге; они жили в Крутицких казармах.[24]

Я поехал шагом, желая вслушаться в солдатские речи, но в общем говоре мало долетало до меня отдельных выражений. Я

думал, что виденный сейчас спектакль будет единственным предметом разговоров, но я ошибся: солдаты говорили, судя по долетавшим до меня словам, о своих собственных делах; впрочем, раза два или три речь явственно относилась к театру, и я слышал имя Щепкина с разными эпитетами «хвата, молодца, лихача» и проч. Иногда они сопровождались такими прилагательными, которые в других случаях имеют смысл бранных слов; но здесь это были слова похвальные или знаки восклицания, которыми русский человек очень энергически любит украшать свою речь. Впечатление виденного мною спектакля долго владело мною и навело меня на множество размышлений. Можно себе представить, какое действие произвело это зрелище на иностранцев!..

Приехав в Москву, уже при первом свидании с Писаревым я был поражен его худобою, бледностью и кашлем. Не говоря Писареву, как известно моим читателям, о моих опасениях, я, разумеется, переговорил о них со всеми нашими общими друзьями; но все были удивлены моими тревожными замечаниями и уверяли меня, что Писарев худ и бледен всегда, что кашель его чисто нервный, что он иногда, особенно по летам, совершенно проходит, что Писарев прибегал раза два к помощи театрального доктора N., «прекраснейшего человека» (заметил Кокошкин), и что тот никакого значения его кашлю не придавал. Спокойствие лиц, уверенность, с какою были сказаны эти слова, и даже улыбка, с которою смотрели на мою тревогу, заставили меня подумать, что я, занимаясь в деревне постоянно лечением больных, перенеся жестокие потери в моем семействе, сделался мнителен и смотрю на такого рода предметы с темной стороны. Я расспросил легонько и осторожно Писарева, нет ли у него каких-нибудь лихорадочных явлений, и, получив положительно отрицательный ответ, совершенно успокоился. Но всю зиму, с 1826 года до весны 1827 года, Писарев не переставал кашлять. К весне кашель его даже усилился, и я возил его к моему доктору М. Я. Мудрову, с которым я и все мое семейство были давно знакомы и дружны и который не переставал слыть в Москве знаменитым практическим врачом. Мудров тоже не нашел ничего важного, прописал какое-то лекарство, спокойствие духа, умеренность в умственных занятиях и проч. Лекарство было Писареву очень полезно, и весною он совсем выздоровел.

В продолжение зимних месяцев 1827 года, прежде других пиес, именно 7 января, шел, переведенный Писаревым с французского, премиленький водевиль «Дядя напрокат», о котором я уже упоминал. Этот водевиль, превосходно разыгранный лучшими московскими артистами, памятен мне по

особенному обстоятельству. После какой-то скучноватой пиесы стояли мы с Писаревым на сцене в ожидании, когда все будет готово для начинания водевиля. Глядя на все, вокруг нас происходившее, я говорил Писареву о темных сторонах театрального мира и в особенности закулисной сферы. Писарев качал головой и молча не соглашался со мною; вдруг окружили нас одетые в свои костюмы Щепкин, Рязанцев, *Сабурова*[25] и Н. В. Репина, которая была тогда украшением московской сцены в водевилях и даже в комических операх.[26]

Каждый из них с живостью и одушевлением обратился к Писареву, показывал, как он хорошо одет, и спрашивал, доволен ли автор? (Переводчика всегда актеры называют автором.) Писарев расхвалил всех, особенно Репину, которая была очень мило и к лицу одета. В самом деле, все было придумано до последней мелочи, чтобы придать наружную характерность представляемому лицу. Во всех была видна забота, любовь к делу, желание угодить автору. Все актеры горели нетерпением начать водевиль, предвещая Писареву блистательный успех и вызов… Когда раздались слова режиссера: «Пожалуйте со сцены!» — Писарев, слушавший живые речи артистов как будто с равнодушием, но тронутый до глубины души, что выражалось особенною бледностью его лица, крепко сжал мою руку, увел меня за дальнюю декорацию и сказал голосом, прерывающимся от внутреннего волнения: «Вот с какими людьми я хочу жить и умереть, — с артистами, проникнутыми любовью к искусству и любящими меня, как человека с талантом! Стану я томиться скукой в гостиных ваших светских порядочных людей! Стану я умирать с тоски, слушая пошлости и встречая невежественное понимание художника вашими, пожалуй, и достопочтенными людьми! Нет, слуга покорный! Нога моя не будет нигде, кроме театра, домов моих друзей и бедных квартир актеров и актрис, которые лучше, добрее, честнее и только откровеннее бонтонных оценщиц, с презрением говорящих о нравах театральной сволочи». Писарев час от часу становился бледнее, глаза его горели, он почти дрожал. Я едва мог его успокоить и увести в директорскую ложу. Водевиль шел очаровательно. Писарев холодно улыбался и от времени до времени говорил: «Надобно обнять Щепкина, Репину и Рязанцева». По окончании водевиля публика с неистовым восторгом вызвала переводчика и потом всех актеров. Возвращаясь домой, подумал я: крепки нити, привязывающие Писарева к театру, и никто не оторвет его от обольстительной сферы сценического мира.

Тринадцатого января, в бенефис актрисы г-жи Борисовой,

была дана большая трилогия князя Шаховского «Керим-Гирей», взятая из «Бахчисарайского фонтана», с удержанием многих стихов Пушкина. Общего успеха она не имела, но многие места были приняты публикой с увлечением. Надобно сказать правду, что, несмотря на излишнюю плодовитость и болтовню князя Шаховского, несмотря на невыгодное соседство стихов Пушкина, в трилогии встречаются целые тирады, написанные сильными, живыми, звучными стихами, согретыми неподдельным чувством. Мочалов, игравший Керим-Гирея, не один раз увлекал публику своим огнем и верным чувством. В той же сцене, где он, напав на замок польского магната, предавая все огню, мечу и грабежу татар, вдруг увидел Марию и оцепенел от удивления, пораженный ее красотою, Мочалов, в первое представление пиесы, был неподражаем! Долго не могла публика удержать себя от восторженных рукоплесканий. Но, увы, никогда уже потом Мочалов не был так хорош в этой сцене! Чем более он старался, тем выходило слабее, безжизненнее. Итак, это был только сценический порыв, не подвластный актеру, улетевший без следа!

Бенефис г-жи Синецкой, бывший 27 января, заканчивался небольшим водевилем Писарева, также переведенным с французского: «Две записки, или Без вины виноват». Этот водевиль слабее других писаревских водевилей, но куплеты, как и всегда, были остроумны, ловки и метки. Переводчик был вызван.

Щепкин дал в свой бенефис (4 февраля) очень большую комедию в прозе (подражание английской комедии «The way to keep him») под названием «Школа супругов», переведенную с французского Кокошкиным. Комедия имела много существенных достоинств, но была тяжела, длинна и наскучила публике. Мочалов, поистине неподражаемый в тех местах, где, без его ведома, находило на него вдохновение свыше, играл в этой пиесе весьма серьезную и необычайно большую роль. Он знал ее наизусть (как и все свои роли) с удивительной точностью и во многих местах был так хорош, что Шаховской, ставивший пиесу, удивлялся ему. У него в роли находился один монолог на семи страницах; казалось, не было возможности высказать его публике, не наскучив ей. Шаховской намеревался обрезать эту рацею на две трети, но, услышав, на первой репетиции, как Мочалов читал свой семистраничный монолог, Шаховской не решился выкинуть из него ни одной строчки; ему захотелось сделать опыт: как примет публика эту *длинноту*? Не почувствует ли она истину и простоту игры Мочалова? Он не ошибся. Во время представления пиесы Мочалов превосходно разрешил эту мудреную задачу, и публика выслушала весь монолог с удовольствием и наградила актера продолжительным рукоплесканьем. Эту пиесу, кажется,

давали еще один раз, и опять длинный монолог сказан был Мочаловым превосходно. За комедией шел водевиль Писарева «Странствующие лекаря». Вопреки обыкновению водевиль был серьезного содержания, прекрасно написан и превосходно разыгран; но как публика, после наскучившей ей комедии, хотела и надеялась посмеяться, слушая писаревский водевиль, то и «Странствующие лекаря» были приняты холодновато; даже превосходные куплеты не поправили дела. Вот один из них, хуже других написанный, но имевший для публики особое значение. Щепкин, игравший одного из лекарей, передал этот куплет мастерски:

Все празднолюбцы-эгоисты,
Себя привыкшие любить,
Врали, педанты, журналисты,
Однажды б только стали жить.
Но автор — честь своей отчизны,
Блюститель правого суда,
Герой, родясь однажды к жизни,
Не умирал бы никогда.[27]

Публика обрадовалась нападению на журналистов, подразумевая в числе их издателя «Телеграфа», и заставила повторить куплет. Нам всем показалось, что публика своим одобрением выразила желание, чтоб Писарев продолжал свои злые выходки против Полевого.

В продолжение великого поста, по случаю закрытия театра, мы чаще ездили друг к другу. Все шло прежним порядком, и карточная эпидемия не ослабевала. Привычка — великое дело, и мы все скучали без театра. Для какого-то значительного лица, чуть ли не для главного директора императорских театров, проезжавшего через Москву, Кокошкин, вместо рапорта о благосостоянии театра, составил два спектакля: один французский, а другой, школьный, русский. Во французском спектакле я в первый раз увидел водевиль «Кеттли» — и увидел с наслаждением. Роль Кеттли играла очень немолодая французская актриса Дюпарк; мне показалась игра ее очаровательною, — может быть, оттого, что я уже пять недель не был в театре и еще три недели не мог его видеть. Спектакль в театральной школе был очень замечателен. Многие воспитанники и воспитанницы обещали талантливых артистов или артисток. К сожалению, большая часть из них погибли рановременной смертью, в том числе девицы Карпакова и Лаврова; уцелели только Шумский, наш славный артист в настоящее время, и Куликова, теперешняя

г-жа Орлова. В апреле замечательных спектаклей не было, кроме бенефиса в пользу сирот Рыкалова, составленного из двух пиес кн. Шаховского: «Буря», волшебное романтическое зрелище в трех действиях, из Шекспира, и «Адвокат, или Любовь-живописец», водевиль в двух действиях, подражание Мольерову «L'amour peintre». Ни та, ни другая пиеса не имела настоящего успеха, хотя в обеих было много недурного.

Наступала весна. После десятилетнего пребывания в Оренбургском крае на вольном сельском воздухе, где не только весною, летом и осенью, но даже и зимой я, как страстный охотник, никогда не сидел взаперти, восьмимесячная жизнь безвыездно в Москве, несмотря на множество интересов, сильно меня занимавших, произвела на меня тяжелое впечатление; а весеннее тепло и роскошно распустившиеся в Москве сады и бульвары живо напомнили мне весну в деревне, и я с величайшим удовольствием принял предложение Кокошкина — уехать на несколько дней в его подмосковную вместе с ним, с Писаревым, кн. Шаховским, Верстовским, А. С. Пущиным, презабавным оригиналом, и еще двумя приятелями из нашего общества. Загоскин и Щепкин должны были остаться по делам театральным. Подмосковная называлась «Бедрино» и славилась старым парком, великолепным озером, в две версты длиною, и пловучими на нем островами. Писарев, написавший прекрасную элегию «Бедринское озеро», с восторгом, к какому только был способен, хвалил мне эту чудесную, по его словам, местность. Вдобавок ко всему Бедринское озеро изобиловало рыбой, а Писарев был страстный охотник удить. Дождавшись самой лучшей погоды, запасшись рыболовными снарядами (хотя Писарев уверял меня, что в Бедрине хранится много прошлогодних, совсем готовых удочек), мы весело отправились, в двух четвероместных колясках, в знаменитое Бедрино. Надобно было проехать верст тридцать по проселочной, весьма дурной и лесистой дороге. Товарищи мои жаловались на толчки; но я, когда пахнуло на меня свежим лесным воздухом, когда со всех сторон открылся не заслоняемый строениями горизонт, когда зелень полей и лесов обняла меня со всех сторон, — я пришел в упоение, несмотря на скудную подмосковную природу, кочковатую почву и незавидную растительность. Все смеялись надо мною, говоря, что дикий оренбурец помешался от радости, вырвавшись на простор из столичной тесноты, и применяли ко мне стихи Пушкина: «Мне душно здесь, я в лес хочу». Но Писарев не смеялся, а завидовал мне, завидовал силе и полноте моих впечатлений. Я не отвечал на приятельские шутки, а всю дорогу говорил только с Писаревым, описывая ему мою чудную родину. Он слушал меня

неравнодушно и еще более завидовал мне.

Часа через три мы приехали в Бедрино. Местоположение было довольно плоское и обыкновенное, но огромная полоса воды светлела издали и красила все. Большой деревянный дом стоял на покатом пригорке, недалеко от края озера, весь окруженный зеленью распустившихся лип и берез. Старый и темный парк тянулся вверх по озеру, вдоль дорожки, которая живописно лепилась по самому краю берега. Прежде всего мне хотелось взглянуть хорошенько на воду; но гостеприимный хозяин желал показать мне дом, и я должен был сделать ему это удовольствие. Он вздумал было также показывать мне парк, объясняя, где и как он намерен устроить «воздушные спектакли», то есть спектакли на открытом воздухе, до которых Кокошкин был страстный охотник; но я попросил его объяснить мне все это после и побежал на озеро: оно было огромно и величаво расстилалось в отлогих зеленых берегах своих. Озеро было точно очень хорошо — да и когда же вода не бывает хороша? Я сейчас догадался, что это был собственно пруд, потому что нижний конец его упирался в высокую, широкую, вековую, отлогую земляную плотину, засаженную деревьями. Она так срослась с берегами, что ее не вдруг можно было отличить. Спуска для вешней воды не было — вероятно, она текла через низкий край плотины, который соединялся в уровень с противоположным отлогим берегом. Без сомнения, теперешнее озеро было какое-нибудь болото, а может быть, и озеро с родниками, через которое весной текло много ручьев с полей: стоило только перегородить всю лощину плотиной, отчего и составилась двухверстная, вверху очень широкая полоса воды. Откуда же взялись пловучие острова, которые я увидел в разных местах? Для другого это был бы трудный вопрос; но я уже знал образование таких островов и сейчас решил, что это были отмокшие и отставшие края противоположного болотного берега. Удовлетворившись моим первым обзором, я поспешно воротился в дом и нашел Писарева, сильно озабоченного устройством удочек, а прочих моих приятелей и хозяина — занятых своим размещением и ожиданием завтрака, потому что мы выехали из Москвы довольно рано. Писарев называл их обжорами и звал меня ехать с ним на небольшой лодке, управляемой тутошним рыбаком, прицепиться к одному из островов, около которых всегда держатся окуни, и начать уженье немедленно. Я решительно не принял его предложения; я вообще боялся плавать на маленькой лодке, а здесь надобно было плыть по неизвестным водам и глубинам, с неизвестным мне кормчим. Я доказывал Писареву, что теперь уже одиннадцатый час и рыба брать не будет, что теперь лучше

хорошенько позавтракать и отправиться целым обществом на большой, безопасной лодке погулять по озеру, посмотреть его хорошенько и выбрать места к завтрему. Писарев отвечал насмешкой над моей трусостью, схватил свои прошлогодние удочки и отправился удить один. Кокошкин был очень благодарен мне, что я не поехал. Он угостил зато меня и других роскошным завтраком на прекрасной, широкой пристани, вдавшейся в воду и покрытой тогда тенью высоких дерев. Было тепло и свежо; кн. Шаховской, Верстовский и Пущин своей веселостью и шутками оживляли нашу полудеревенскую, оригинально помещенную трапезу. Много было всякой болтовни, безобидных шуток и смеха. Кокошкин беспрестанно декламировал наизусть разные стихи, даже отрывки из трагедий. Правду сказать, он даже надоедал нам своей декламацией. Он и дорогу всю читал, да и здесь продолжал читать. Орган у него был чудесный, грудь высокая и необыкновенно развитая, он мог декламировать с большим наружным жаром, не уставая, от утра до вечера; он находил в этом большое наслаждение и видимо утешался чисто взятыми верхними интонациями или полнотою грудных своих тонов. Надобно сказать, что его чтение с первого раза поражало и даже увлекало всех, что большинство людей, его слыхавших, считало Кокошкина первым, несравненным чтецом. На публичных чтениях, в Обществе любителей русской словесности, он был поистине великолепен: полнозвучный, сильный, приятный и выработанный голос его обнимал всю залу, и не было слушателя, который бы не слыхал явственно каждого слова, потому что произношение его было необыкновенно чисто. Но должно признаться, что истинного, сердечного чувства и теплоты в его чтении не было. Услыхав Кокошкина, несколько раз читающего одну и ту же пиесу, можно было сейчас это почувствовать: одинаковость приемов, одинаковость переходов из тона в тон, несмотря на наружный жар и даже подчас вызванные слезы, обличали поддельность и недостаток истинного чувства. А потому люди, никогда не слыхавшие или очень редко слушавшие Кокошкина, слушали его с восхищением или по крайней мере с удовольствием, а люди, составлявшие его почти ежедневное общество со скукою и даже с досадою.

Окончив завтрак, согласно моему совету и желанию, мы отправились кататься по озеру на такой лодке, которая, кроме нас, могла бы поднять еще дюжину Шаховских. Погода стояла тихая, гребцы и кормщик были привычны к своему делу, и наша большая лодка легко скользила по гладкой водяной поверхности. Скоро мы увидели острова с распустившимися деревьями, покрытые зеленою травою и молодым камышом. Они стояли в

разных местах, точно корабли на якорях; к одному из них прильнула лодка Писарева, и мы поплыли было прямо к нему, несмотря на его маханье и крики, что мы отпугаем всю рыбу. Я упросил Кокошкина уважить беспокойство рыбака, подъехать к острову с противоположной стороны и, держась возле его края, тихонько подплыть к лодке Писарева. Так и сделали. Он был в большом волнении, показывая две оборванные удочки, уверял, что одну оторвал огромный окунь, а другую откусила щука. Я изъявил сомнение, потому что, попробовав крепость оборванных лес, увидел, что они перегнили, и доказывал Писареву, что такую лесу, при сильной неосторожной подсечке, оторвет всякая и небольшая рыба. Разумеется, Писарев не согласился и не верил мне; он отказался от привезенного ему завтрака, просил только оставить его в покое, называл меня не рыбаком, а дилетантом. Я не стал его уверять в противном, и мы отправились продолжать свою прогулку. Мы достигли верховья так называемого Бедринского озера, и, увидев, что в него впадал небольшой ручеек из соседнего болота и такие же два ручейка — из парка, я убедился, что озеро имеет постоянную небольшую прибыль свежей, проточной воды. Вот отчего масса воды мало убывала в летние жары, отчего она не портилась, как это бывает в стоячих водах, и отчего подвергалась только обыкновенному летнему цветению.

Накатавшись досыта, осмотрев, по моей просьбе, противоположный болотный берег озера и все пловучие острова, налюбовавшись огромным зеркалом воды, которую начинал подергивать мелкой рябью южный ветерок, и опять-таки наслушавшись декламации Кокошкина, мы возвращались весело домой. Подъехав к Писареву, мы нашли его уже более склонным и к завтраку и к возвращению в дом. От ветерка остров начинал колебаться и двигаться, рыба не брала, солнце припекало рыбака, и Писарев, выудивший, однако, двух или трех окуней, пересел к нам в лодку. На возвратном пути я старался растолковать Писареву, что я истинный рыбак, что охота для меня не шутка, а серьезное дело, что я или предаюсь ей вполне, или вовсе ею не занимаюсь, что охотничьих parties de piaisir [28] я терпеть не могу и что завтра, когда все собираются удить рано утром (то есть часов в восемь, а не в два, как следует), я решительно с ними не поеду под предлогом, что хочу удить с берега; выберу себе местечко под тенью дерев, для виду закину удочки, хотя знаю, что там ни одна рыбка не возьмет, и буду сидеть, курить, наслаждаться весенним утром, свежим воздухом и молодою пахучею зеленью недавно распустившихся деревьев. Писарев признавался, что не понимает меня, и сказал, что на заре уедет

опять к островам, потому что бедринский рыбак обещал ему обильный клев.

В доме было прохладно, и мы, проведя несколько часов на солнце, очень обрадовались этой прохладе. Сначала все отдыхали, чувствуя какую-то приятную усталость, а потом всякий занялся тем, что ему было по вкусу: кто читал, кто пошел гулять; мы же с Писаревым занялись удочками. Я навязал ему несколько новых и крепких лес с крючками, грузилами, наплавками и поводками из струны, чтоб щуки не могли перекусить их: навязал, к сожалению, на старые, сухие и негнуткие удилища, потому что вырубать новых и сушить было некогда; приготовил и себе две удочки. Кончив свое дело, я предложил Кокошкину осмотреть его парк и выслушать его затеи. Кокошкин очень обрадовался моему предложению. Парк был нехорош. Мне показалось, что местами он был вырублен, но вековые аллеи остались, и некоторые были так широки, что Кокошкин хотел устроить в них сцену. Ему хотелось уладить два спектакля: ночной и денной; для ночного назначалась аллея, а для денного — небольшая круглая насыпь, под которой находились подвалы или ямы для хранения картофеля и разных других огородных овощей. «Милый! — говорил Кокошкин с увлечением, — на этой насыпи я поставлю деревеньку из *пратикабелей*,[29] а бока засажу срубленными березками. Само собою разумеется, что занавесь будет не подниматься кверху, а раздергиваться на две стороны; на ней я прикажу нарисовать ту самую деревеньку в перспективе, которую зрители увидят на сцене; занавесь же в аллее будет представлять дремучий лес. В аллее пойдут отлично «Попугаи» Хмельницкого, а здесь, для денного спектакля, надобно выбрать пиеску, представляющую деревенскую улицу: таких пиес много. Разница между освещением солнечным и освещением лампами будет поразительна, и ты увидишь, как изменятся в твоих глазах одни и те же актеры и актрисы, особенно последние. Надобно признаться, что искусственный свет выгоднее для прекрасного пола и вообще для сцены. Я перевезу сюда театральную школу недели на две; это будет очень полезно для здоровья моих воспитанников и воспитанниц; девицам отдам весь дом, а сам с воспитанниками и гостями помещусь во флигеле, который для этого исправляют; другой же флигель, для московских дам, уже готов. Ты, конечно, милый, прогостишь у меня все это время». — Я отвечал Кокошкину решительно, что никак этого не сделаю, но что приехать на день или на два постараюсь. Кокошкин был очень недоволен, старался прельстить меня ночными катаньями по озеру с музыкою, пением и факелами, небольшими фейерверками на пловучих островах и проч. и проч., но я решительно отказался.

Я дал слово приехать, если не будет препятствий, именно на первый спектакль, который назначался на 22 июля, в день именин его дочери,[30] для которой воздушный театр будет сюрпризом. Походив, мы воротились довольно поздно и нашли уже накрытый стол, хотя не на пристани, которую жгло уже яркое солнце, но все-таки на берегу озера, в густой древесной тени. Товарищи наши, несмотря на завтрак, проголодались и ожидали нас с нетерпением. Обед шел живо, весело и даже шумно, как вдруг один из старинных слуг Кокошкина торжественно сказал ему: «Ваше превосходительство! острова приплыли посмотреть, как вы изволите кушать!» Мы оглянулись и сквозь ветви дерев увидели подплывшую флотилию островов. Мы вскочили из-за стола и сошли на берег: шесть островов, из которых некоторые были значительной величины, пригнанные легким ветерком, полукругом, тихо подходили к пристани. Мы приветствовали их громкими восклицаниями; хозяин потребовал шампанского, и мы отсалютовали прибывшим гостям полными бокалами. К вечеру острова подошли еще ближе к пристани, потому что тут вода была глубока; но когда село солнце и ветерок потянул от запада, острова как-то столпились и потом начали медленно отплывать: поутру они были уже на другом конце озера.

Мы отобедали поздно, когда уже наступал очаровательный майский вечер. Я вполне им наслаждался, но, судя по местности, как опытный рыбак и охотник, предвидел, что по захождении солнца будет сыро и прохладно. Я уговорил всех отложить вечернюю прогулку на лодке и просидеть вечер на пристани.

Общество наше уменьшилось. Мы потеряли самого приятного собеседника: Верстовский, как директор музыки при театре, должен был уехать в Москву. В Бедрине не было фортепьяно, и потому мы лишены были удовольствия слушать одушевленное пение Верстовского: без аккомпанемента он никогда не пел, отзываясь слабостью голоса. Кокошкин торжественно обещал, что к будущему нашему приезду будет привезена рояль.

Предвидение мое относительно позднего вечера вполне оправдалось; еще солнце не совсем зашло, как по болотистой стороне озера начали подниматься пары; точно, по лесу местами курился дымок и не шел кверху, а расстилался по земле. Скоро струи тумана побежали от берега по неподвижному зеркалу воды — и я увел насильно Писарева в дом, убеждая его и доказывая, что такая сырость для него очень вредна. Он плохо верил моим медицинским сведениям, но слушался меня из дружбы. Через полчаса пришли к нам Кокошкин и все остальное общество. Туманная сырость заставила их последовать нашему примеру. Кокошкину непременно захотелось сделать конец вечера

литературным, и за стаканами и чашками душистого чаю, с деревенскими сливками, началось чтение. Писарев прочел элегию «Бедринское озеро», которую Шаховской и еще двое из присутствующих не знали; прочел еще какие-то стихи. Я читал наизусть отрывки из моего перевода 8-й сатиры Буало; прочел также мою русскую идиллию «Рыбачье горе», которую Писарев очень любил. Пущин с удивительным искусством прочел несколько басен Крылова. Такой натуры и простоты чтения я ни у кого не слыхал, кроме как у самого Крылова. Пущин не был литератор, но писал очень легкие и забавные стихи. Кокошкин, разумеется, не остался в долгу. Он прочел нам рассказ откупщика из своей комедии «Воспитание» и новую басню, написанную им для чтения в первом собрании Общества любителей русской словесности. Названия басни не помню, но она начиналась стихом Державина: «Шекснинска стерлядь золотая» и проч. Шаховской ничего не помнил наизусть, но сказал нам, что он привез с собой начало своей комедии, еще никому не читанной, под названием «Игроки». Шаховской был известный полуночник и хотел было немедленно начать чтение новой своей пиесы; но было уже поздно, мы все были утомлены от наслаждения прекрасным весенним днем и просили автора отложить чтение до завтра. Кокошкин благословил нас на сон грядущий «во имя муз и Аполлона». Эта декламаторская выходка рассмешила всех.

Мы с Писаревым спали в одной комнате. Великого труда для меня стоило упросить его, чтоб он не ездил удить слишком рано, то есть до восхождения солнца. Он долго не соглашался. Я сам дал оружие против себя: я сказал ему, что самое лучшее уженье рыбы на заре. Теперь напрасно я уверял молодого моего друга, что это совершенно справедливо только в отношении к таким породам рыб, каких в Бедринском озере не водилось, как, например, язей, головлей, лещей и линей. Линей, как говорил тутошний рыбак, было много, только на удочку они не шли. Я растолковал ему, что на глубине никогда линя не выудишь, что он держится в местах мелких, тинистых, в заливах, заросших травою, которая тогда едва начинала показывать свои верхушки в полоях пруда. Я должен был побожиться Писареву, что хищная рыба рано поутру не берет, а берет после восхождения солнца. По счастию, старый рыбак, тут находившийся, подтвердил мои слова, и Писарев согласился. Приказано было разбудить меня, когда солнышко станет в дерево вышиною.

Рыбак с точностью исполнил приказание и часа в четыре разбудил меня. Писарев крепко спал и не слыхал наших переговоров с рыбаком. Я проворно оделся и вышел на пристань. Чудное весеннее утро охватило меня приятною свежестью.

Солнце, казалось, спешило на горизонт и торопливо укорачивало древесные тени, лежавшие с нашей стороны поперек озера. Не было и признаков сырости и тумана, только роса белела и светилась на деревьях и на траве. На несколько мгновений я пришел в какое-то упоение, но не Бедринское озеро расстилалось передо мною, а другие, более милые и дорогие мне места представились моему воображению. Я грустно очнулся и пошел к Писареву. Он тихо и крепко спал сном молодости и здоровья, как мне казалось; даже жалко было прервать такой спокойный сон; но, боясь, что он осердится, зачем разбудили его поздно, я разбудил его. Через четверть часа все было готово; я заставил Писарева сверх платья накинуть шинель, и он, полный охотничьих надежд, тем более, что старый рыбак достал мелкой рыбы для щук, нетерпеливо и весело отправился на уженье. Разумеется, все наше общество спало непробудным сном, хотя с вечера все решились встать рано, чтоб ехать удить; но как не было дано приказания, чтоб их разбудить, то я был уверен, что они проспят часов до восьми. Я взял свои удочки, табак и трубку, пошел по береговой дорожке, выбрал себе живописное местечко и уселся на нем, чтобы вполне насладиться прекрасным утром. Утро в самом деле было очаровательное: пение птичек заглушалось раскатами и щелканьем соловьев; с полей доносилось пение жаворонков; на противоположной, болотистой стороне токовали бекасы и свистали погоныши. Я погрузился в сладкое самозабвенье, всю очаровательную прелесть которого можно чувствовать только после, в воспоминании. Но всему бывает конец, тем более такому блаженному состоянию, и я через час точно проснулся к действительности: бессознательно закинутые мною удочки лежали неподвижно, я почувствовал, что сидеть было сыро, и воротился назад, чтоб провесть остальное утро на пристани, в покойных креслах, и чтоб исполнить мелькнувшую у меня вечером мысль — попробовать, не будет ли брать там рыба: глубина была значительная. Но едва я только уселся и закинул свои удочки, как в доме послышался шум и громкие разговоры, люди бегали и суетились, к лодке пришли гребцы и кормчий. Я удивился, что мои приятели поднялись так рано: было только шесть часов. Я пошел в дом, и весело было смотреть, как торопливо вставали, одевались и в то же время пили чай и кофе мои любезные рыбаки. Они приветствовали меня радостными восклицаниями и горячими просьбами ехать вместе с ними, быть их наставником и руководителем в рыболовстве. К общему и неожиданному их удовольствию я согласился. Мне вдруг представилась мысль, как будут забавны Кокошкин, Пущин, а особенно Шаховской с удочками в руках! Я решился забыть об

охоте и полюбоваться комическим зрелищем, напился и чаю и кофе — и мы отправились.

Я не имел причины раскаиваться, что согласился на просьбы моих товарищей. Я и теперь не могу вспомнить без улыбки тех забавных сцен, которые так наивно они передо мною разыгрывали. Прежде всего начался спор, у которого острова пристать. У всех были свои важные причины; но авторитет Кокошкина, как хозяина, более знакомого с местностью, получил перевес; мы подошли и привязались обоими концами лодки к самому длинному острову, более других заросшему лесом. С нами в лодке был мальчик для насаживания червей, очень хорошо знающий свое дело; но и здесь Кокошкину захотелось поумничать, и он велел насадить себе червяка совершенно не так, как надобно. Пущин последовал его примеру, и только Шаховской и двое других дилетантов благоразумно подчинились уменью и опытности мальчика. Все замолчали; несколько времени продолжалась совершенная тишина, и я имел время произвесть наблюдения над лицами моих приятелей. Кокошкин стоял на ногах, приняв театральную позу какого-то героя. Он с важностью и уверенностью держал в одной руке удилище, а другою подперся в бок; небольшая его фигурка в большой соломенной шляпе была очень забавна. Пущин, в серой пуховой шляпе, сидел, завернувшись в шинель, положа удилище на край лодки, и зорко смотрел на свой наплавок, как на поставленную карту (он любил играть в банк). Шаховской представлял из себя большую копну сена, на которой лежала голова, покрытая белой фуражкой с длинным козырьком от солнца, из-под которого торчал длинный, птичий его нос, готовый, казалось, клюнуть подбородок; он не выпускал из рук удилища, но в маленьких и прищуренных его глазах можно было заметить, что он думает не об рыбе, а скорее о каком-нибудь действующем лице в своих «Игроках»… Тишина и спокойствие продолжались недолго. При первом колебании наплавка каждый спешил выхватить свою удочку и с жаром уверял, что у него сорвалась большая рыба. Я старался убедить их, что рыба и в рот не брала их червяков, что это трогала какая-нибудь маленькая плотичка или верховка задевала за лесу и даже за наплавок, около которого она всегда вертится. Приятели плохо верили моим словам, покуда многократные опыты не доказали, что они справедливы. Между тем один из гребцов, усевшись верхом на носу лодки, закинул одну из запасных удочек и вытащил порядочного окуня. Это обстоятельство разгорячило еще более моих рыбаков, а слова гребца, что он тогда потащил удочку, когда уже и наплавка не было видно, убедили их гораздо сильнее моих красноречивых

уверений. Все решились последовать благому примеру и дожидаться, *покуда наплавка не будет видно*. Это могло бы иметь свою дурную сторону; но как здесь брали только окуни и щуки, то это безусловное правило было недурно. Вскоре успех увенчал терпенье, и несколько окуней было выужено; но зато охотники так разгорячились, подняли такой шум, крик и шлепанье удилищами по воде, что испугали и отогнали рыбу. Напрасное ожидание не замедлило наскучить им, и началось придумыванье разных хитростей, как бы приманить рыбу; бросали хлеб, червей, листья и траву, которые доставали с острова, даже землю. Кто подвязывал наплавок к самому грузилу, кто удил вовсе без наплавка, кто болтал удилищем в воде, услыхав от одного из гребцов, что окуни бросаются на шум и на муть;[31] Кокошкин принялся было уже читать, думая подманить рыбу своей декламацией, а Шаховской пустился импровизировать забавную галиматью стихами, к чему он имел большую способность и чем иногда забавлял приятельское общество… Все это было очень смешно и забавно, но, наконец, мне наскучило, я громко стал требовать возвращения домой, где ожидал нас завтрак: сейчас избитое сливочное масло, редис, только что вынутый из парника, творог, сметана, сливки и прочее. Требования мои были уважены. На возвратном пути мы заехали к тому острову, где виднелась лодка Писарева, но ее уже там не было; гребцы наши сказали, что лодка уже у пристани, куда и мы поспешили.

Писарев встретил нас с сияющим лицом. Лов был удачен, и рыба клевала очень хорошо; он поймал двух щук, из которых одну фунтов в шесть, и десятка полтора окуней; в числе их были славные окуни, с лишком по фунту. Писарев обнимал и благодарил меня за удочки. «Всем тебе обязан, — говорил он, — а у моего товарища две удочки откусили щуки, а третью оторвал большой окунь». Вся добыча была отправлена к повару для приготовления к обеду.

После завтрака Шаховской напомнил нам о своих «Игроках», и мы изъявили общее желание его слушать. Надобно предварительно сказать, что слушать чтение Шаховского было дело не легкое, особенно если он читал по черновой рукописи. Мы испытали это уже не раз. По большей части случалось так, что Шаховской начинал читать свою пиесу, чтоб *«дать тон»*, как он говорил, и потом передавал ее Кокошкину или мне; разумеется, это делалось только в таком случае, если рукопись была начисто переписана; но в настоящую минуту он притащил кучу листов такого маранья, что мы заранее пришли в ужас: очевидно, что читать должен он был сам. Мы заметили Шаховскому, что трудно будет разбирать черновую рукопись, до такой степени

испещренную поправками, до невероятности запачканную; но удержать его от чтения было уже невозможно. Он говорил: «Пелвый акт я сам пелеписал, и по нем будет холосо читать; втолой, плавда, не пелеписан, ну, да я лазбелу как-нибудь». Но, увы, набело переписанный первый акт похож был на самый первый черновой набросок. Шаховской весьма плохо разбирал его, заикался, плевал, перевирал стихи и слова: вместо «друг мой» говорил «труп мой», вместо «я отплачу тебе» — «я поплачу по тебе» и, наконец, рассердился на себя. Досталось бедной его лысине, которую он шлепал немилосердно. «Ну сказите, ради бога, — вопил Шаховской, — есть ли в Лоссии какой-нибудь сапозник, какой-нибудь подлец, котолый бы писал так, как я! Ну, да тепель я посталаюсь», — и начинал стараться. От старанья выходило хуже; наконец, Шаховской поперхнулся, закашлялся и задохся. Я вызвался попробовать: не могу ли читать, покуда он отдохнет? Шаховской с радостью согласился, но читать не было никакой возможности: кроме сквернейшего почерка, грубейщих ошибок в правописании, — знаков препинания или совсем не было, или они ставились наперекор человеческому смыслу. Я возвратил рукопись, сказав, что никак разобрать не могу. Шаховской сделал гримасу и стал продолжать чтение сам. За одним актом он промучил нас часа два. По несчастию, действующих лиц было множество и с презатейливыми именами; были князья и графы, и Шаховской, не разбирая их фамилий, беспрестанно употреблял фамилии своих знакомых — то граф Завадовский, то граф Комаровский, то князь Вадбольский! Невозможно было не хохотать! Князь Шаховской был тем хорош, что от всей души сам смеялся над собою. Наконец, кончился первый акт. Мы сидели в тени на берегу озера, ветерок продувал нас, и сидеть было прохладно, но Шаховской был весь в мыле, как добрая лошадь, проскакавшая десятка два верст. Мы уговаривали его отдохнуть, пройтись или даже полежать на стоявшей тут широкой садовой скамейке. Он пошел походить с нами по тенистой береговой дорожке; мы старались заговорить с ним о другом: о постановке его пиесы кому-то в бенефис, о петербургских интригах против него, даже о Шекспире, о котором он никогда не мог довольно наговориться, но, увы, все наши хитрости были напрасны: через полчаса Шаховской сказал: «Ну, тепель я вам плочту втолой акт или хоть половину его. Вы слышали только изложение пиесы, а тепель начинается интлига». Делать было нечего, опять пошли к столу и сели вокруг Шаховского. Можно себе представить, каково было чтение второго акта, написанного на листах ненумерованных, да и слово «написанного» не идет сюда: это просто прыгали по листам какие-

то птицы, у которых ноги были вымараны в чернилах; листов один к другому он не мог подобрать, и выходила такая путаница и ералаш, что, наконец, сам Шаховской, к общему нашему удовольствию, сказал: «Надо напелед листы лазоблать по порядку и пеленумеловать, но я рассказу вам интлигу». И начал рассказывать интригу, в которой мы, правду сказать, также ничего не поняли. По догадкам, дело состояло в том, что шайка мошенников-игроков приезжает на ярмарку, чтоб обыграть каких-то богатых князей и графов; сначала успевает в своем намерении, потом игроки ссорятся между собою и выводят друг на друга разные плутни. Молодые графы и князья их прощают и отпускают мошенничать по всей православной Руси. Шаховской просил нас сказать ему откровенно наше мнение о первом акте и о содержании пиесы. Кокошкин отделался тем, что по первому акту нельзя судить, но что, вероятно, в последних трех будет много комических сцен и что князь не может написать пиесы, в которой не был бы виден его талант; но мы, все остальные, мягче или резче, неблагоприятно отозвались о новой пиесе. Я откровенно сказал князю Шаховскому, что считаю оскорблением искусству представлять на сцене, как мошенники вытаскивают деньги из карманов добрых людей и плутуют в карты. Я был не совсем прав и не предчувствовал гоголевских «Игроков»; неясно и нетвердо понимал я тогда, что высокое художество может воспроизводить и пошлое и, до известной степени, низкое в жизни, не оскорбляя чувство изящного в душе человеческой. Некоторые нападали на спутанность и неясность отношений между игроками, на стихи, изрубленные, как лапша, в разговорах действующих лиц; а Пущин сказал, что Шаховской только по слухам знает черных игроков и что язык у них и приемы совсем другие. Всех более впился в Шаховского Писарев и доказывал ему несообразность в определении характеров некоторых лиц и непоследовательность, неестественность в их поступках. Он даже говорил, что это не люди, а воплощенные мысли князя Шаховского, что это безжизненные куклы. Итак, бедный князь Шаховской, не привыкший к такому дружному и положительному охуждению, претерпел совершенное поражение. Он защищался, сколько мог, но крепко призадумался и приуныл. Как-то и все были, казалось, не очень довольны, что огорчили старика своею резкою искренностью.[32]

Рано позавтракав, рано сели обедать, а после обеда все полегли спать, в том числе и я. Но мне не спалось; я взял себе в провожатые одного из бедринских старожилов и пошел осматривать противоположный, болотистый берег. Я нашел, что

почти во всю длину озера или пруда, шириною сажен на сто, вплоть до небольшого возвышения, тянулось топкое, кочковатое торфяное болото, поросшее мелким лесом. Не имея длинных сапог, я не мог исследовать его сам, но мой спутник ходил по нем до самого озера; я увидел, что почва колыхалась и опускалась под его ногами, и чем ближе к воде, тем сильнее. Я убедился, что вода уже подмыла земляную поверхность этого болота, избитого окнами, или прососами, и что рано или поздно оно все превратится в пловучие острова, а вода займет его место до самого того возвышения, по которому я шел. Тогда-то Бедринское озеро, подумал я, будет поистине великолепно.[33]

Я поспешил домой, чтобы поздравить Кокошкина с блестящею будущностью так горячо любимого им Бедринского озера; но, к удивлению моему, нашел все общество, занятое — картами. «Как, — сказал я, — и в деревне понадобились карты! Это верный знак, что пора в Москву; это значит, мы пресытились красотами весенней природы и всеми деревенскими удовольствиями». Я смутил моих приятелей своей ораторской выходкой, а сам в ту же минуту присоединился к ним и с увлечением занялся игрою. Впрочем, я поспешил сказать моим товарищам, что мы не деревенские жители, а городские гости, приехавшие в подмосковную полюбоваться природой, и что для нас простительно примешивать городские забавы к деревенским. Шаховской был удивительно забавен в игре! Он все хитрил и считал свои хитрости непроницаемыми, но их почти все отгадывали, кроме Кокошкина; Писарев же умел так искусно его подлавливать, что бедной лысине Шаховского и коричневому пятну на лбу доставались частые удары ладонью.

После игры я упросил Кокошкина и уговорил других, чтоб завтра воротиться в Москву не к вечеру, как предполагали, а к обеду. Все приняли мое предложение без всякого затруднения, даже охотно, как мне показалось. Я вспомнил, что у меня было нужное дело. Итак, решились на другой день только позавтракать в Бедрине. Писарев, сначала споривший со мною, соглашался с одним условием, чтобы завтра, часов в пять утра, я поехал с ним удить на большой лодке туда, где он удил сегодня. Я охотно согласился.

К большой радости Писарева, на другой день уженье было так же удачно и с большой лодки, как и с маленькой, особенно потому, что накануне было выброшено много снулой рыбешки и червей: это была отличная прикормка для хищной рыбы. Окуни и щуки точно дожидались нас, и в короткое время мы поймали также двух щук и более вчерашнего крупных окуней. Часу в

двенадцатом мы отправились в Москву.

Дорогой мне стало как-то грустно, и я мало принимал участия в веселых разговорах моих спутников. Бедринский парк, озеро, пловучие острова, весеннее утро, соловьиные песни и токование бекаса вытеснялись другими воспоминаниями, поднимавшимися со дна души. Я полон был этой борьбой. Но только въехали мы в Рогожскую заставу, только обхватил меня шум, гам и говор, только замелькали передо мною лавочки с калачами и цирюльни с безобразными вывесками, только запрыгала наша коляска по мостовой, как мгновенно исчезли и новые и старые воспоминания и мне показалось, что я не выезжал из Москвы: два дня, проведенные в деревне, канули в восемь месяцев московской жизни, как две капли в стакан воды.

Прежняя московская жизнь потекла своим обыкновенным порядком. Каждую неделю, в известные дни, собиралось все наше общество у Кокошкина, у Шаховского и у меня; но видались мы ежедневно, даже не один раз. Загоскин и Щепкин завидовали нашему пребыванию в Бедрине, о котором мы все отзывались с удовольствием, а Писарев с восторгом.

Служащие при театре Кокошкин, Загоскин и другие разумеется бывали в нем ежедневно: утром в конторе, вечером в спектакле. Но и мы с князем Шаховским почти от них не отставали. Внимание Писарева было тогда особенно обращено на бенефис двух танцовщиц, Ивановой и Заборовской, для которого он написал оперу-водевиль в трех действиях, заняв содержание у Фавара: «Пастушка, старушка, волшебница, или Что нравится женщине». Одна из танцовщиц играла тут говорящее лицо. Кн. Шаховской, усердно помогавший Писареву, написал для этого бенефиса вольными стихами «Урок женатым», комедию в одном действии, и «Бенефициант», премиленькую комедию-водевиль также в одном действии. Причина горячего участия Писарева в этом спектакле, конечно, мне и другим была известна; но, к несчастию, ничто не могло поколебать его безумного увлечения. Этот бенефис шел 20 мая. Писарев до истощения сил хлопотал, чтобы вдохнуть жизнь в игру хорошенькой, очень мило танцующей куклы — но, увы, понапрасну! Сам же он считал себя Пигмалионом, а в ней видел Галатею.

Теперь время сказать, какой имело успех мое намерение сблизиться с Мочаловым, сблизить его со всем нашим кругом и через это сближение быть ему полезным. Увы, никакого успеха не имело мое доброе намерение! Мочалов был одарен великим талантом; но сам был уже неспособен к усовершенствованию своего таланта. Гром рукоплесканий и восторги публики совершенно его испортили. Он не любил бескорыстно искусства,

а любил славу; он не верил в труд, в науку и хорошо знал, что как бы он ни играл свою роль, не только одно вдохновенно сказанное слово, но всякая горячая выходка увлечет большинство зрителей и они станут превозносить его до небес. Он был в этом прав и доказал нам свою правость на факте, который превзошел даже его собственные ожидания. Не помню, в какой-то новой переводной пиесе Мочалов играл большую и трудную роль. Он играл совсем не то, что следовало; но публика осыпала его рукоплесканиями и единодушно вызвала по окончании пиесы. Торжествующий Мочалов, увидя на сцене Шаховского, подлетел к нему с низкими поклонами (он чрезвычайно уважал графов, князей и генералов, особенно военных, которых даже боялся) и сказал: «Ваше сиятельство, хотя публика удостоила меня лестного одобрения-е, но мнение вашего сиятельства для меня всего дороже-с. Может быть-с, я не всю роль играл правильно. Удостойте меня вашими замечаниями». Шаховской отвечал ему: «Хоть публика тебя, любезный Павел Степаныч, и вызвала, но ты иглал челт знает кого». Шаховской сказал эти слова мимоходом и сейчас ушел. Мочалов обратился ко мне и Писареву и просил растолковать ему, отчего князь им недоволен. Мы растолковали, и на этот раз показалось нам, что он нас понял. «Извольте, — сказал он нам, — я исполню ваше желание-с и послезавтра сыграю эту роль точно так, как вы требуете». На другой день он прочел мне всю роль вполголоса, но со всеми интонациями; я был чрезвычайно доволен. На третий день он сыграл два первые акта точно так, как обещал; но публика, встретив его громкими рукоплесканиями, в продолжение двух актов уже ни разу ему не хлопнула. Мы все, сидя в директорской ложе, любовались Мочаловым и сердились на публику. Наконец, в третьем акте, в средине сильной сцены, которая была ведена прекрасно, а публикой принимаема равнодушно, Мочалов взглянул на меня, потряс немного головой, поднял свой голос октавы на две и пошел горячиться. Это был совершенный разлад и с прежней его игрой и с характером роли, но публика точно проснулась и до конца пиесы не переставала аплодировать. Увидав меня на сцене, Мочалов сказал мне: «Виноват-с, не вытерпел; но, Сергей Тимофеич, ведь актер-с играет для публики. Пять, шесть человек знатоков будут им довольны-с, а публика станет зевать от скуки и, пожалуй, разъедется; поверьте, что сегодня не дослушали бы пиесы, если бы я-с не переменил игру». Он был неоспоримо прав. Я пожал только плечами и сказал, что это правда, но очень горькая. В заключение Мочалов просил меня не пересказывать его последних слов князю Шаховскому (которому сейчас говорил другое); он его как-то побаивался.

Мочалов был не довольно умен, не получил никакого образования, никогда не был в хорошем обществе, дичился и бегал его; бог знает из каких расчетов женился он на дочери какого-то трактирщика, потом бросил жену и пил запоем. Сначала он хаживал ко мне только рано по утрам, чтоб ни с кем у меня не встретиться. Мы читали с ним друг другу — то Пушкина, то Баратынского, то Козлова, который ему почему-то особенно нравился. Много говорили о театре, о сценических условиях, о той мере огня и чувства, которою владели славные актеры; но я видел, что, несмотря на ответы Мочалова: «да-с, точно так-с, совершенно справедливо-с» — слова мои отскакивали от него, как горох от стены. Один раз Мочалов пришел ко мне в таком виде, что я должен был вывести его насильно, и с тех пор он у меня в доме уже не бывал.

Во время наших приятельских обедов и вечеров редко обходилось дело без карт; но сначала обыкновенно что-нибудь читали или слушали музыку. Иногда Писарев читал свои стихи, которых, впрочем, он стал писать гораздо менее. Он прочел также переведенное им в трех актах какое-то драматическое представление для будущего бенефиса Щепкина «Пятнадцать лет в Париже». Пиеса показалась мне скучновата. Но зато водевиль «Пять лет в два часа, или Как дороги утки», переведенный им для бенефиса Синецкой, всех нас заставил хохотать и восхищаться куплетами. В это время Писарев был особенно занят, по поручению Общества любителей русской словесности, сочинением похвального слова уже несколько лет умершему Капнисту: разумеется, и оно было прочтено нашему ареопагу. Но по большей части читали на этих вечерах стихи Шаховского, который, кроме своих театральных сочинений, имел время и несчастную претензию писать патриотические стихотворения.[34]

Одно из них чрезвычайно длинное, в котором описывалась война 12-го года и торжество русских в Париже, ужасно надоело мне. По несчастию, чтение мое нравилось автору, и я читал его тетрадищу плохих стихов не один раз. А что всего несноснее, — бывало, прочтешь около половины, как вдруг войдет новый гость, и Шаховской непременно скажет самым умильным голосом, с нежностью смотря мне в глаза: «Селгей Тимофеич, да мы повтолим для него сначаля», и я, проклиная нового гостя и Шаховского, повторял сначала. На таких собраниях был прочтен, каждый раз по одному акту, мой прежний перевод Мольеровой комедии «Школа мужей», по возможности мною выправленный и отданный на следующий бенефис Щепкину, который тосковал по Мольере и вообще по ролям, требующим работы. Я обещал ему

перевесть на следующий год Мольерова «Скупого» и сдержал мое обещание.

Слушали мы, и с наслаждением, музыку и пение Верстовского. Его «Бедный певец», «Певец в стане русских воинов», «Освальд, или Три песни» Жуковского и «Приди, о путник молодой» из «Руслана и Людмилы», «Черная шаль» Пушкина и многие другие пиесы — чрезвычайно нравились всем, а меня приводили в восхищение. Музыка и пение Верстовского казались мне необыкновенно драматичными. Говорили, что у Верстовского нет полного голоса; но выражение, огонь, чувство заставляли меня и других не замечать этого недостатка. Один раз спросил я его: «Отчего он не напишет оперы?» Верстовский отвечал, что он очень бы желал себя попробовать, но что нет либретто. Я возразил ему, что, имея столько приятелей-литераторов, хорошо знакомых с театром и пишущих для театра, нетрудно, кажется, приобресть либретто. Верстовский сказал, что у всякого литератора есть свое серьезное дело и что было бы совестно, если б кто-нибудь из них бросил свой труд для сочинения ничтожной оперы. Я, однако, с этим не согласился и при первом случае напал на Кокошкина, Загоскина и Писарева: для чего никто из них не напишет оперы для Верстовского, когда все они, да и вся публика, признают в Верстовском замечательный музыкальный талант? Мне отвечали самыми пустыми отговорками: недосугом, неуменьем и тому подобными пустыми фразами. Я расшумелся и кончил свои нападения следующими словами: «Послушайте, господа: я ничего никогда для театра не писывал; но ведь я осрамлю вас, я напишу Верстовскому либретто!» — Кокошкин, с невозмутимым спокойствием и важностью, отвечал мне: «Милый! сделай милость, осрами!» — Ободрительный смех Загоскина и Писарева ясно говорил, что они сочувствуют словам Кокошкина. По опрометчивости и живости моей я не сообразил, до какой степени это дело будет ново и трудно для меня, и вызвался Верстовскому написать для него оперу и непременно волшебную. Нечего и говорить, как был он мне благодарен. Напрасно ломал я себе голову, какую бы написать волшебную оперу: она не давалась мне, как клад. Я бросился пересматривать старинные французские либретто и, наконец, нашел одну — именно волшебную,[35] и где были даже выведены цыгане, чего Верстовский очень желал. Мы оба придумали разные перемены, исключения и дополнения, и я принялся за работу. Первый акт я кончил и начал второй, который открывался цыганским табором. Дело кое-как подвигалось вперед… но я после, в своем месте, расскажу, чем кончилась моя работа и какие имела последствия.

В приятельской нашей игре в карты и беседах много происходило комических сцен между Шаховским и Загоскиным, хотя они горячо и нежно любили друг друга. Загоскин, в свою очередь, часто бывал смешнее Шаховского: младенческое простодушие, легковерие и вспыльчивость, во время которой он ничего уже не видел и не слышал, были достаточными к тому причинами. Часто посреди игры все мы остальные, положив карты, хохотали над ними до слез. Они беспрестанно спорили и ссорились, подозревали друг друга в злонамеренных умыслах, и нередко случалось, что один другого обвинял в утайке той карты, которая находилась у него самого на руках; но один раз случилось особенно забавное происшествие, впрочем, не зависящее от карт. Ехали мы, то есть — я, Кокошкин, Загоскин и Писарев, в условленный день, на вечер к Шаховскому. Вдруг Загоскин говорит: «Надоел мне Шаховской своими стихами; опять что-нибудь будет читать. Я придумал вот что: как приедем, я заведу с ним спор. Скажу, что я сегодня прочел «Кумушек» Шекспира, и начну их бранить; скажу, что Шекспир скотина, животное, — Шаховской взбесится и посмешит нас своими выходками и бормотаньем. Между тем время пройдет; мы скажем, что слушать его стихов уже некогда, и сядем прямо за карты». — Мы охотно согласились, потому что как-то давно Шаховской с Загоскиным не схватывались и не бранились. Приехав к Шаховскому, мы нашли у него Щепкина и еще двух приятелей из нашего круга. Загоскин с первого слова повел свою атаку, и так неосторожно и неискусно, так по-топорному, что Шаховской сейчас сметил его намерение. Вместо того, чтоб разгорячиться, он весьма хладнокровно начал подсмеиваться над Загоскиным; сказал, между прочим, что с малолетными и с малоумными о Шекспире не говорят; что вся русская литература, в сравнении с английской, гроша не стоит и что такому отсталому народишку, как русский, надобно еще долго жить и много учиться, чтобы понимать и ценить Шекспира. Шаховской знал, что ничем нельзя так раздразнить Загоскина, как унижением русского народа; знал, что он подносил горящий фитиль к бочонку с порохом. Так и случилось, — последовал такой взрыв, какого мы и не видывали! Загоскин совершенно вышел из себя и не только уже от всей души принялся ругать Англию, Шекспира и Шаховского, но даже бросился на него с кулаками. Разумеется, его удержали. Он сейчас опомнился, и Шаховской, прищурив свои маленькие глаза и придав своему лицу, как он думал, самое насмешливое, язвительное выражение, сказал: «Ну что, блат, ты хотел меня лаздлазнить и потешить публику, а я смекнул делом да лаздлазнил тебя; только чул впелед не длаться». Друзья сейчас

помирились, мы все досыта насмеялись, время было выиграно и цель достигнута: мы сели прямо за карты.

В июне, в бенефис Сабуровых, дана была комедия в одном действии князя Шаховского, заимствованная из Шекспира, «Фальстаф». Эта небольшая пиеса была написана очень остроумно, живо и весело. Шаховской роль Фальстафа отдал молодому актеру Сабурову и так же, как некогда в Петербурге от Сосницкого, требовал от Сабурова, чтоб он передразнил автора. Сабуров исполнил это и с поддельным брюхом, носом и лысиной, с перенятыми некоторыми ухватками Шаховского точно был на него несколько похож, но, видно, не так, как Сосницкий, — и Шаховской остался доволен. О других летних спектаклях не стоит и говорить.

В московской журналистике все было довольно тихо. В «Вестнике Европы», доживавшем последние годы своей жизни, появлялись выходки Каченовского «о купечестве в литературе» и о «Каланче», то есть о «Московском телеграфе». Полевой отвечал очень умеренно; перебранки между ним и Писаревым совершенно прекратились; но схватки издателя «Телеграфа» с «Сыном отечества» и «Северной пчелою» продолжались. Замечательное событие в журналистике 1827 года было появление «Московского вестника», учено-литературного журнала, издаваемого г. Погодиным. Пушкин помещал в нем все свои новые стихотворения. В первой его книжке явился в первый раз известный отрывок из «Бориса Годунова». Сцена в монастыре между летописцем Пименом и иноком Григорием произвела глубокое впечатление на всех простотою, силою и гармонией стихов нерифмованного пятистопного ямба; казалось, мы в первый раз его услышали, удивились ему и обрадовались. Не было человека, который бы не восхищался этой сценой. Но, кроме литературных и ученых достоинств, «Московский вестник» был журнал честный. Критика его могла быть пристрастна, но никогда не основывалась на расчетах и никого не хвалила из видов. К удивлению моему, этот журнал, в котором, кроме стихов Пушкина, исключительно в нем помещавшихся, много было прекрасных статей самого издателя, а также гг. Хомякова, Шевырева, Веневитинова (скоро похищенного смертью), Венелина, Рожалина и других, — не имел большого успеха. Разумеется, петербургские журналисты были против «Московского вестника».

Между тем приближалась осень; указ об учреждении отдельного цензурного комитета в Москве был давно уже подписан, и новый устав напечатан. Председателем комитета был утвержден кн. Мещерский, а я — цензором. Говорили, что третьим цензором будет С. Н. Глинка, с которым мои сношения как-то совсем прекратились. Наконец, в начале сентября приехал в Москву председатель нового цензурного комитета и привез с собой секретаря, Новикова, природного москвича. Я немедленно поехал познакомиться с моим председателем и товарищем: председатель был в то же время и цензор и никаких особенных прав не имел. Я нашел в кн. Мещерском чрезвычайно любезного, ловкого, умного и образованного человека; о нравственных его качествах я не имел никакого понятия и от всей души радовался такому товарищу: опытному, много служившему и все на свете знающему человеку, начиная от тайных придворных интриг до Пинеттевских штук в картах. Председатель мой хотел немедленно

открыть комитет и ежедневно тормошил для того университетское начальство; но известно, что старые ученые люди, занятые своими головоломными делами, двигаются не очень поспешно. Оказалось, что для помещения нового цензурного комитета в университетских зданиях (как сказано было в уставе) нет места и что прежний цензурный комитет не приготовил к сдаче своего архива, своих текущих дел, запрещенных и неразрешенных рукописей и пр. Но кн. Мещерский был не такой человек, который стал бы ждать и останавливаться такими препятствиями. Взяв предписание от попечителя университета, бывшего командира гренадерского корпуса, генерал-лейтенанта А. А. Писарева, который был не то что начальник нового цензурного комитета, а какой-то ходатай, через которого производились сношения с министром, кн. Мещерский потащил с собою ректора, профессора Двигубского, по всем зданиям, принадлежавшим университету, и сейчас нашел удобное помещение в доме университетской типографии: нужно было только сделать какие-то поправки и небольшие переделки. Но чтобы не тратить времени в ожидании этих переделок, иногда очень медленных в казенных зданиях, мой председатель, живший на Воздвиженке, в великолепном доме графа Шереметева, с которым был очень близок, приказал управляющему отвесть в том же доме несколько комнат для временного помещения комитета, на что попечитель охотно согласился. Неготовность к сдаче дел также нисколько не остановила моего председателя, который, имея в руках предписание министра о немедленном открытии нового цензурного комитета, не отставал от попечителя до тех пор, покуда он не исполнил его требования. Сдачу же дел и архива положили сделать после. Итак, в исходе сентября, в зале университетского совета или в правлении (хорошенько не знаю, только помню, что на столе стояло зерцало) собрались профессора, члены старого цензурного комитета, под председательством своего попечителя, явились и мы с председателем и с своим секретарем; прочли указ, предписание министра и наши утверждения в должностях. В другой комнате, в присутствии попечителя, привели нас к присяге. Сдали нам несколько бумаг, книг и рукописей, и затем попечитель и профессоры, поздравив нас с новыми должностями, раскланялись с нами и оставили нас одних. Председатель наш хорошо знал, что я и Новиков вовсе не знакомы с канцелярским порядком, захотел позабавиться над нами и сказал: «Господин секретарь, извольте исполнять вашу должность». Новиков смотрел на него во все глаза, ничего не понимая, и, наконец, спросил: «Что будет угодно приказать?» Председатель обратился ко мне и сказал мне очень

серьезно: «Сергей Тимофеевич, не угодно ли вам потрудиться и вразумить господина секретаря, в чем состоит его должность. Он, как видно, ее не знает». Я сначала немного смешался, но, зная, что кн. Мещерский большой шутник, предполагая и тут шутку, я, смеясь, отвечал ему: «Вы видите, что мы оба не знаем, что делать: так научите нас». Председатель наш расхохотался, взял лист бумаги и написал, без помарки, журнал открытия нового «отдельного цензурного комитета»; мы все трое подписали его; секретарь взял под мышку все старые дела и архив и отправился с ними в квартиру председателя, а я поехал домой. На другой день в «Московских ведомостях» было напечатано объявление об открытии нового цензурного комитета с приглашением всех, имеющих до него надобность, являться ежедневно с девяти часов утра до трех часов пополудни. Разумеется, было напечатано, где помещался комитет. На другой день я приехал в девять часов и нашел уже в комитете несколько человек с разными просьбами и надобностями, как-то: с объявлениями о книгах, с небольшими брошюрками и с множеством разных лубочных картинок. Председатель сидел уже в присутственной комнате и разбирал разные рукописи, оставшиеся не цензурованными в прежнем комитете. Через полчаса мы удовлетворили всех просителей и рукописи разделили пополам. Кн. Мещерский приказал Новикову написать опять журнал, который мы все трое подписали, по которому мы требовали деньги из московского уездного казначейства, ассигнованные на наше жалованье и содержание канцелярии. Председатель поехал сам за деньгами и воротился очень скоро. Мы пересчитали деньги; а как у нас не было еще казенного сундука для хранения их в университетском казначействе, то мы взяли уже выслуженное нами жалованье, а остальную сумму, с моего согласия, председатель вызвался беречь у себя. Затем мы с кн. Мещерским пошли в его кабинет, находившийся через одну комнату от комитета. Мы закурили трубки, позавтракали и стали дожидаться новых посетителей, предполагая, что в этот же день должны явиться к нам издатели журналов, в чем и не ошиблись. Председатель условился со мной брать журналы по порядку: первый ему, второй мне и т. д. Первый явился М. П. Погодин, которого я до тех пор и не видывал. Мы вышли в присутственную *камеру*, как называл ее всегда Новиков, познакомились с журналистом, а председатель мой объявил, что он сам будет цензуровать «Московский вестник». Погодин тут же вручил ему рукопись — «Повествование о России» Николая Арцыбашева. Погодин уехал, а мы воротились в кабинет. Кн. Мещерский развернул погодинскую рукопись и сейчас мне сказал: «Любезнейший Сергей Тимофеевич! Чтобы внушить к себе

полное уважение, мы должны действовать с строгою точностью, не отступая ни от одной буквы устава; вот эту рукопись я читать не буду: она написана слишком мелко, особенно выноски и ссылки, которых наберется не меньше текста. Я по службе обязан читать рукописи, но не обязан терять глаз; в уставе именно есть параграф, в котором сказано, что рукописи должны быть чисто, четко и разборчиво писаны». Я посмотрел толстую тетрадь Арцыбашева и увидел, что она написана очень четко и что только ссылки и выписки из грамот написаны мелко. Я сказал моему председателю, что это слишком строго, что если у него не слабы глаза, то рукопись прочесть очень можно. Потом я завел серьезный разговор с ним о новом цензурном уставе и доказывал ему, что если буквально его держаться и все толковать в дурную сторону, на что устав давал полное право цензору, то мы уничтожим литературу, что я намерен толковать все в хорошую сторону. У нас зашел горячий спор… В самое это время доложили, что приехал издатель «Телеграфа». Мы опять вышли в присутственную комнату. Кн. Мещерский был знаком с Полевым, но я увидел его так же в первый раз, как и Погодина. Мы познакомились, и председатель объявил журналисту, что я буду цензором его журнала. Полевой, конечно, знал о моей дружбе с заклятым его врагом, А. И. Писаревым, и вообще о моем мнении относительно редактора «Московского телеграфа». Ему, конечно, была очень неприятна моя цензура, да и мне также. Я получил для просмотра от Полевого большой сверток бумаг. Издатель «Телеграфа» сейчас уехал, а мы с председателем опять воротились в кабинет продолжать наш спор: он длился до четырех часов, и мы расстались, ни в чем не согласившись, ни в чем не убедив один другого.

Спор о цензурном уставе с моим председателем привел меня в большое недоуменье. Мне даже казалось, не хотел ли он испытать меня? Мне не верилось, чтоб такой умный, светский, любезный и подчас веселый человек мог иметь такие инквизиторские понятия о цензуре. Чем более я думал, тем более утверждался в этой мысли; но впоследствии кн. Мещерский убедил меня в своей искренности.

Через несколько дней пришло определение С. Н. Глинки, и он явился к нам в комитет. Председатель, несмотря на то, что я старался предварительно объяснить ему все хорошие стороны нашего нового товарища, глядел на него с насмешкою, как на юродивого или как на шута, но был очень вежлив. В самом деле, дико было смотреть на одетого крайне небрежно, всегда с полувыбритою бородою и странными движениями, не подчиняющегося никаким формам общественного и служебного

приличия — нового нашего цензора. Ему достался «Дамский журнал» кн. Шаликова; он был давно знаком с издателем, и они, встретясь в комитете, принялись осыпать друг друга комплиментами на французском языке. С. Н. Глинка распространился о французской литературе и начал было декламировать Расина, — как вдруг наш председатель, смотревший на них с язвительною усмешкою, наскучив их болтовнею, бесцеремонно сказал кн. Шаликову, что его дело по цензуре кончено и что комитет имеет свои дела, не терпящие отлагательства. Издатель «Дамского журнала» сделал кислую мину и сейчас раскланялся с нами, однако с большими учтивостями. Глинка наморщился: ему не понравилась выходка нашего председателя, который сейчас предложил Глинке, как новому цензору, прочесть журналы, состоявшиеся до его вступления. Но С. Н. Глинка не мог сидеть спокойно за столом на одном месте: почитав немного, он начал ходить по комнате взад и вперед и едва не запел какой-то французский романс. Наконец, не вытерпел, подошел к председателю и сказал: «Вы хозяин канцелярии, и у вас всегда есть дело; цензоров и так здесь двое; мне, третьему, совершенно нечего делать; дайте мне мою работу, то есть какую-нибудь рукопись, и отпустите меня домой». Председатель отвечал, что это совершенно от него зависит и что одного цензора довольно для постоянного присутствия в комитете до трех часов; а как он здесь живет и до четырех никуда не выезжает, то мы можем оставаться здесь столько, сколько нам угодно. Глинка был очень доволен; взяв огромную тетрадь, он проворно раскланялся с нами, шаркнув и притопнув ногой по своей привычке, и почти выбежал из комитета, махая своей до невероятности измятой, изломанной шляпой, в дверях уже напевая и насвистывая какой-то куплет. Председатель называл его Диогеном, циником, и очень забавлялся им, но беспрестанно повторял: «Какой же он цензор, особенно при нынешнем уставе?» Желая вразумить меня, как осмотрительно и внимательно должно цензуровать журналы, он повел меня в кабинет и показал мне все, что он вымарывает красными чернилами из «Московского вестника» и из какого-то несчастного дюжинного романа; я пришел в совершенное недоумение, а выслушав объяснения кн. Мещерского, его подозрения, догадки и соображения, пришел в ужас и негодование. Я не знал, что мне ему сказать. Я уже догадывался, что говорить с ним откровенно нельзя и не должно. Я отвечал, однако, что не верю своим глазам и что не понимаю его. Он самодовольно улыбнулся и жалел о моей неопытности; но сам сказал, что нам нечего рассуждать и спорить об этом предмете, потому что мы никогда не сойдемся; прибавил только,

что при этом уставе я и трех месяцев не пробуду цензором. Я отвечал, что это для меня все равно. После такого нашего положительного объяснения он оставался, однако, со мной в самых любезных отношениях, рассказывал мне много любопытных подробностей из своей жизни, и хотя он, видимо, умалчивал о многом, но я догадывался, что он, как говорит русский народ, «черезо все произошел». Ко многим своим способностям кн. Мещерский присоединял необыкновенное дарование писать по-русски сильно, резко и дельно; он показывал мне толстую книгу писем, писанных им для разных лиц, находившихся в самых трудных обстоятельствах, — писем к государю и к другим особам царской фамилии, а также и к разным министрам. Все письма были написаны мастерски и очень смело; писать такие бумаги была его страсть, и он сам напрашивался на них.

Так шли дела недели три. В один день, приехав в комитет, я долго сидел один, читая и подписывая всякий вздор, как вдруг председатель прислал мне сказать, что он нездоров и просит меня к себе в кабинет. Я пришел. Кн. Мещерский, очень расстроенный, протянул мне руку, крепко пожал мою и сказал: «Конечно, вы не ожидаете, какую я сообщу вам новость: я отставлен от службы; меня уведомляет об этом правитель канцелярии министра просвещения, а завтра получится официальная бумага о моем увольнении». Я был поражен, как громом, и только мог промолвить: «Что же это значит?» — «Враги мои, — с горячностию сказал кн. Мещерский, — я их очень хорошо знаю, — успели очернить меня. Прошу вас сохранить секрет до завтра. Ах, если б знали вы, — продолжал он самым встревоженным голосом, — в какое ужасное положение приводит меня эта отставка!» Мне стало его очень жаль. В самое это время доложили, что приехал Погодин. Кн. Мещерский велел сказать, что он нездоров и просит г. Погодина к себе в кабинет. Погодин вошел; но председатель был уже другой человек: он встретил журналиста спокойно, величаво и грозно. «Милостивый государь, — сказал он, — журнал ваш имеет самое вредное направление; только для первого раза я вымарываю, а не вношу в комитет для запрещения ваши статьи». И он начал показывать Погодину разные места, зачеркнутые красными чернилами. «Отрывок же из повести вашей, — продолжал он, — таков, что я не смею его вынести из моего кабинета, потому что в той комнате (он указал на комитет) я должен буду преследовать вас судебным порядком. Повесть ваша вся зачеркнута. Получили вы, для более разборчивой переписки, рукопись господина Арцыбашева?» Погодин отвечал, что «рукопись эта написана рукою самого

автора, с неимоверною точностью, по особенной методе знаков и сокращений, что всякий переписчик необходимо наделает сотни ошибок, а потому он решается не печатать статьи и возвратить рукопись автору». — Я весь вспыхнул от негодования и ушел из кабинета; когда же Погодин, совершенно расстроенный, проходил чрез комитет, я остановил его и шепнул ему на ухо: «Председатель отставлен от службы: завтра я возьму цензуровать ваш «Вестник». Можно себе представить радость Погодина. Я сделал ему знак, чтобы он, не говоря ни одного слова, уехал. Долго не мог я успокоиться, так взволновал меня поступок кн. Мещерского. Вся жалость моя исчезла, и я не пошел к нему в кабинет. Кончив поскорее свое дело и приказав секретарю не беспокоить председателя подписанием бумаг, а оставить их до завтра, я сейчас уехал.

На другой день получена была бумага об увольнении председателя и предписание министра исправлять мне его должность; третьим цензором назначен был известный писатель В. В. Измайлов. Через месяц комитет переместился в дом университетской типографии, и я весь погрузился в исполнение моей должности, которую очень полюбил, потому что она соответствовала моей склонности к литературе.

Посвящая всякий день шесть часов присутствию в комитете, где, в свободное от просителей время, я читал на просторе рукописи спокойнее, чем дома, я уже не мог уделять столько времени на приятельские беседы и частые посещения театра, как прежде. Приятели посмеивались надо мною, и я теперь охотно сознаюсь, что в самом деле было нечто комическое в моем излишнем увлечении, усердии и уважении к моей должности; но таково было уж мое свойство. Опера для Верстовского сильно затянулась. Это меня беспокоило. Но в один благополучный час дело получило неожиданный и самый счастливый исход: я убедил Загоскина, который оканчивал свой «Благородный театр», сочинить либретто для Верстовского, и он, кончив свой важный труд, принялся писать оперу «Пан Твардовский». Тут было забавное обстоятельство, в котором выражалась добродушная оригинальность Загоскина. В «Пане Твардовском» также выведены были цыгане, и также второе действие открывалось цыганским табором, песнями и плясками. Загоскину очень нравилась написанная мною цыганская песня, но поместить ее в своей опере без оговорки он ни за что не хотел; оговариваться же, что песня написана другим, ему казалось неловко и странно. Долго он находился в пресмешном раздумье; наконец, приехал ко мне и сказал: «Нет, брат, всей твоей песни ни за что не возьму, а уступи ты мне четыре стиха, но отрекись от них совершенно. Позабудь,

что ты их написал, и никому, не сказывай». Я охотно согласился. Вот эти четыре стиха:

Голод, жажду, холод, зной
Иногда мы сносим;
Но не чахнем над сохой,
Но не жнем, не косим!

Всего же забавнее, что через несколько дней Загоскин опять приехал ко мне и сказал: «Нет, душа моя, не могу взять и четырех стихов; это много; дай только два последние». Разумеется, я на это также охотно согласился; эти два стиха и теперь находятся в его прекрасной цыганской песне, которую превосходно положил на музыку А. Н. Верстовский и которая впоследствии встречена была публикой с восторгом. Песня эта сделалась народною, и много лет наигрывали ее органы, шарманки, пели московские цыгане и пел московский и даже подмосковный народ. Она начинается так:

Мы живем среди полей
И лесов дремучих;
Но счастливей, веселей
Всех вельмож могучих.

Рано с солнцем не встаем
Для чужой работы;
Лишь проснулись — и поем…
Нет у нас заботы!

и проч.

Вместе с октябрьской холодной погодой опять закашлял Писарев, опять возобновились мои. беспокойства, потому что характер кашля мне не нравился; притом же Писарев был в высшей степени неосторожен, или, лучше сказать, он не понимал, что такое осторожность. К этому присоединились другие обстоятельства, которые усилили мое беспокойство. Писарев жил до сих пор у Кокошкина. Вдруг объявил он мне решительно, что нанимает квартиру и хочет жить особо. Это меня удивило, тем более, что я знал недостаточность его денежных средств. В то же время дошел до меня верный слух, что Писарев хочет жениться на известной особе и потому переезжает на квартиру. Я сейчас

объяснился с ним и с горячностью напал на его намерение. Писарев выслушал меня спокойно и потом сказал: «Ты совершенно прав, любезный друг; я безусловно согласен с тобой. Признаюсь, прежде я точно хотел сделать эту глупость, но сам начинал уже колебаться; твои же слова совершенно открыли мне глаза. Я не женюсь; но тем не менее переезжаю на свою квартиру и хочу жить *своим домом*». Я понял очень хорошо его цель, и хотя она мне также не нравилась, хотя я попробовал восстать против нее горячо, но убедить Писарева в справедливости моего мнения не было никакой возможности, и он немедленно исполнил свое несчастное намерение.

Не помню, кем именно был затеян в это время спектакль, который надобно было дать в подмосковном селе Рожествене в день рождения московского военного генерал-губернатора князя Димитрия Владимировича Голицына. В село свое Рожествено он уезжал иногда для отдохновения и обыкновенно проводил в нем день своего рождения. Князь Голицын был всеми очень любим, и этим праздником все занимались с большим усердием и одушевлением. Загоскин для спектакля написал очень живую и забавную интермедию; Писарев — прекрасные куплеты, а Верстовский — прекрасную на них музыку. Эта интермедия отличалась тем, что некоторые лица играли самих себя: А. А. Башилов играл Башилова, Б. К. Данзас — Данзаса, Писарев — Писарева, Щепкин — Щепкина и Верстовский — Верстовского, сначала прикидывающегося отставным хористом Реутовым.[36]

Разумеется, спектакль давался сюрпризом. Я всегда был не охотник до подобных сюрпризов начальнику от подчиненных, а в этот раз имел особенные причины быть очень недовольным: я боялся за здоровье Писарева. Но делать было нечего, и 29 октября он ездил вместе с другими в Рожествено, кажется с лишком за тридцать верст, для представления этой интермедии. Опасения мои, к несчастию, оправдались. Холод и сырость поздней осени сильно подействовали на Писарева. Он возвратился в Москву с большим кашлем и даже небольшой лихорадкой. Я хотел было снова обратиться к М. Я. Мудрову; но Писарев, по общему совету наших общих приятелей, пожелал лечиться у первого тогда практика в Москве, которого сами доктора называли «князем врачей», Григорья Яковлевича Высоцкого. Знаменитость его была не прихоть публики, увлекающейся иногда шарлатанством, не мода: Высоцкий ее заслуживал. Я сам был очень хорошо знаком с ним и сам имел случай быть свидетелем его верного взгляда на очень опасных больных, которых он вылечил чудесно: следовательно, я не имел причин не согласиться с желанием

Писарева. Мы вместе отправились к Высоцкому, которому я накануне обстоятельно рассказал всю историю болезни Писарева и постарался возбудить участие к больному. После внимательных расспросов и осмотров Высоцкий сказал, что ничего еще нет опасного и даже важного, но может быть и то и другое, если болезнь будет запущена. Он прописал лекарства, диету, образ жизни и запретил больному выезжать. Когда Писарев хотел поблагодарить, как водится, за совет и рецепты, Григорий Яковлевич оттолкнул руку Писарева с двадцатипятирублевой бумажкой и сказал смеясь: «Вы заплатите мне вашими будущими сочинениями; дня через два я заеду к вам». — Писарев был необыкновенно доволен и весел, и я опять успокоился. В самом деле, больному вскоре стало гораздо лучше, и через две недели, не переставая, впрочем, кашлять своим обыкновенным зимним кашлем, он начал выезжать, с разрешения доктора. В одном только Писарев не слушался Высоцкого: он продолжал сильно заниматься; в одно и то же время он дописывал похвальное слово Капнисту, переводил водевиль для бенефиса Щепкина и переводил роман Вальтер-Скотта «Певериль де Пик» — для приобретения средств к жизни *своим домом*, как он любил выражаться.[37]

Мои дела по цензурному комитету шли очень мирно и успешно. Нет ничего мудреного, что литераторы, и крупные и самые мелкие, все журналисты, книгопродавцы, содержатели типографий и букинисты были очень довольны существованием нового комитета. Все требования по текущим книжным делам исполнялись немедленно; кто подавал брошюрку листа в два или три, тот, даже не выходя из комитета, получал ее обратно процензурованною. Этого не мог делать прежний цензурный комитет, состоявший из профессоров, занятых постоянно своим ученым делом, для которых просматриванье книг и всякого литературного хлама, книжных объявлений, картинок и пр. было излишнею тягостью, ничем не вознаграждаемою; да и комитет их собирался один раз в неделю. Строгости нового цензурного устава никто не чувствовал, потому что не было ни малейшей надобности прибегать к ней, если цензор не имел собственного желания пускаться в злонамеренные толкования. Издатель «Московского телеграфа» сначала пробовал сблизиться со мной; я откровенно ему сказал, что «только как цензор, я могу быть в сношениях с г-м Полевым; что же касается до исполнения моей обязанности, то, без сомнения, он сам видит мою полную готовность к скорому и снисходительному удовлетворению его требований». С издателем же «Московского вестника» М. П.

Погодиным и сотрудником его С. П. Шевыревым я познакомился и сблизился очень скоро. Я даже предложил Погодину писать для него статьи о театре с разбором игры московских актеров и актрис, что могло разнообразить и оживлять его журнал. Издатель был очень благодарен, и для помещения моих статей о театре прилагал к каждой книжке «Московского вестника» по листу и по два, под весьма неправильным названием «Драматических прибавлений». Я постоянно участвовал небольшими статейками в «Московском вестнике», и в 1830 году, когда журналисты, прежде поклонявшиеся Пушкину, стали бессовестно нападать на него, я написал письмо к Погодину о значении поэзии Пушкина и напечатал в его журнале. Я помещаю это письмо в «Приложениях»; Пушкин был им очень доволен. Не зная лично меня и не зная, кто написал эту статейку, он сказал один раз в моем присутствии: «Никто еще, никогда не говаривал обо мне, то есть о моем даровании, так верно, как говорит, в последнем номере «Московского вестника», какой-то неизвестный барин».

Будучи давно и даже коротко знаком с С. Н. Глинкой и пользуясь всегда его уважением, я имел возможность сдерживать его неправильные порывы и подчинять его действия установленным формам. В. В. Измайлов был человек очень тихих свойств; опасаясь строгости устава, он бывал иногда слишком робок; но я нашел средство совершенно его успокоить: всякое сомнительное место цензуруемой им рукописи он вносил на рассмотрение в общее присутствие комитета, а мы с С. Н. Глинкой, по большинству голосов, пропускали его; дело записывалось в журнал, и Измайлов, как цензор, уже не подвергался ответственности. Убедительным доказательством, что новый устав не внушал опасений и не стеснял литературы, — служили три просьбы об издании новых журналов с будущего 1828 года. Известный своими заслугами ученый К. Ф. Калайдович просил дозволения издавать журнал отечественной истории, словесности и критики, под названием «Русский зритель», по две книжки в месяц, с приложением разных картинок и в том числе старинных нарядов.[38]

Также известный профессор в Москве М. Г. Павлов подал просьбу о дозволении издавать журнал «Атеней», содержание которого должны были составлять история наук, словесность и критика, — по две книжки в месяц. Наконец, известный же в Москве литератор, le Cointe Delaveau, вошел с прошением издавать журнал на французском языке «Bulletin du Nord». Комитет немедленно ходатайствовал о дозволении издавать

вышеупомянутые журналы, а как разрешение тогда зависело от министерства народного просвещения, то и было получено очень скоро.

Прошел ноябрь. Писарев продолжал кашлять, работать и выезжать. Лекарства, избавившие его от усиленного кашля и лихорадочного состояния, дальнейшего действия не имели. Г. Я. Высоцкий говорил, что это ничего, что с наступлением теплой погоды он примется за Писарева и вылечит его радикально.

Первого декабря был бенефис Мочалова. Неутомимый Шаховской поддоброхотал ему огромнейшую комедию в пяти действиях, взятую из романа Вальтер-Скотта; она называлась «Судьба Ниджеля, или Все беда для несчастного». Я уже говорил об этом несчастном спектакле, которого дослушать с вниманием не было никакой возможности; к концу пиесы многие зрители разъехались. Мы дружно напали на Шаховского и упрекали его, что он не послушал наших предостережений. Сильно сконфуженный автор, беспрестанно нюхая табак или свои пальцы, вымаранные в табаке, сознавался, что «надобно немноско посоклатить; только жаль: все это длагоценности, не мои, а Валтел-Скотта; вплочем, лусская публика еще молода для такой сельезной комедии; делать нечего: я соклащу, соклащу»… но сокращения не последовало, а пиесу даже не повторили.

В это время шла уже постановка на сцену комедии Загоскина «Благородный театр». Я не видывал, чтоб князь Шаховской когда-нибудь так хлопотал о своей пиесе, как он хлопотал об этой комедии. Почти на всех репетициях я сидел подле князя и слышал все его бормотанье с самим собою: «Плелесть, плелесть! — шептал он. — Какое богатое комическое положение, какая веселось, какие счастливые стихи! Откуда это все белется?.. Господь бог ему посилает». Один раз Шаховской даже вскочил, треснул себя по лысине и закричал, как мог, своим диким голосом: «Это лучшая комедия из всех втолоклассных французских комедий, котолыми плославились их автолы». Актерами Шаховской также восхищался, и поистине эта комедия была разыграна с таким совершенством, какого я на московской сцене не видывал.[39]

Новая комедия Загоскина была принята публикой с непрерывающимся смехом и частым, но сейчас утихающим хлопаньем; только по временам или по окончании актов взрывы громких, общих и продолжительных рукоплесканий выражали удовольствие зрителей, которые до тех пор удерживались от аплодисментов, чтоб не мешать самим себе слушать и смеяться. Я не стану давать отчета в ходе этого прекрасного спектакля и в

относительном совершенстве многих московских артистов. Я подробно говорил об этом в биографии Загоскина.

Приступаю теперь к рассказу самого тяжелого и грустного времени в моих «Воспоминаниях». Я уже сказал, что Писарев продолжал кашлять и неутомимо работать. Он кончил, поправил и вторично прочел нам и переписал набело отличным почерком «Слово в память Капниста». Все мы были увлечены силою и красотою языка, стройностью и глубоким чувством, и даже чувствительностью, с которою было написано это сочинение; последнего качества мы никогда не замечали во всем, что писал Писарев, и это нас всех изумило. Имея слабую грудь и голос, он поручил мне чтение своей прекрасной статьи в Обществе любителей российской словесности. — Довольно большая пиеса для бенефиса Щепкина «Пятнадцать лет в Париже, или Все друзья одинаковы», драматическое представление в трех действиях, была уже давно готова и даже процензурована. После нее должен был идти мой перевод комедии Мольера «Школа мужей», а в заключение спектакля, назначенного 26 января будущего 1828 года, шел водевиль в одном действии, переведенный с французского Писаревым, «Средство выдавать дочерей замуж». Это была его последняя работа для театра, и хотя водевиль состоял из пустого, впрочем забавного фарса, но Писарев занимался им с особенной любовью и очень был доволен куплетом:

Ах, дочери — мученье!
Скажите, кто им рад?
Плати за их ученье,
Плати за их наряд;
А подрастут поболе,
Тогда отца и мать
Спросите вы, легко ли
Их замуж выдавать?

Никому из нас Писарев еще не читал своего последнего перевода, потому что торопился его переписать и послать в цензуру. В один ужасно холодный день, градусов тридцать мороза, он приехал ко мне после обеда и прочел по черновому списку свой водевиль. По несчастью, я недавно переехал на новую и очень холодную квартиру. Писарев озяб и, кончив чтение, поспешно уехал, кажется к В. М. Бакунину, у которого князь Шаховской, Загоскин и другие из нашего круга проводили этот вечер; он хотел прочесть также и им свой водевиль. Уезжая, Писарев был необыкновенно бледен, часто кашлял и казался

усталым; сколько я ни уговаривал его, сколько ни просил, чтоб он не ездил в такую стужу и не читал два раза в один вечер своего водевиля, — он меня не послушал и уехал.

На другой день я получил известие, что Писарев жестоко болен. Не могу с точностью определить число этого рокового дня. Мне кажется, что Писарева уже не было в театре при первом представлении комедии «Благородный театр». Следовательно, он захворал окончательно до 28 декабря 1827 года. Я немедленно поехал и нашел у Писарева Кокошкина и Г. Я. Высоцкого, который очень сердился на больного и на всех нас за то, что мы допустили его до такой сильной простуды. Когда я вышел провожать доктора в другую комнату, он сурово сказал мне: «Теперь штука поважнее; он очень простудился и получил воспаление в печени; с этим делом я слажу, но оно будет иметь сильное влияние на весь его организм, а до теплой погоды еще далеко». Слова эти потрясли меня; но скрепя сердце я воротился к больному и уверил, что Высоцкий не придает важности его болезни. Тут я узнал, что вчера в квартире у Бакунина было очень жарко, что Писарев читал свой водевиль, очень устал, сильно вспотел и мокрый, в тридцатиградусный мороз, в ваточной шинели, воротился домой; у него сейчас оказалась лихорадка с острою болью в боку и трудностию дыханья. Огорченный до глубины души, я отправился в свой комитет. Возвращаясь домой, заехал к Писареву: жар не уменьшался, но дыхание стало не так тяжело, и боль не так остра; пиявки и другие лекарства уже оказали свое действие. На следующий день я опять съехался с Высоцким, который нашел Писарева в лучшем положении и сказал, что воспаление через несколько дней пройдет, но что больной ослабеет и должен будет пролежать долго в постели, совершенно отстранив от себя всякое беспокойство, волнение и умственное занятие; даже чтение позволил слушать только самое легкое. Сверх того, доктор находил, что квартира сыра, и советовал при первой возможности переменить ее. Легко отдавать такие приказания, да исполнять трудно. При раздражительности характера Писарева, которая должна была усилиться от болезни в печени, при недостатке средств, при недостатке ухода, какое тут спокойствие? Все друзья ежедневно его навещали, но от этого никакой пользы не было, а иногда и вред. Домашнее хозяйство больного находилось в жалком положении: молодая экономка ничего в нем не смыслила и умела только плакать. С помощью Кокошкина, который любил Писарева и принимал в нем большое участие, я устроил по возможности уход около больного. Всего было лучше то, что Кокошкин радушно предложил перевезть Писарева в новый свой дом, находившийся против того, в котором обыкновенно жил

Кокошкин.[40]

Прекрасная, сухая квартира в нижнем этаже, по счастию, была не занята. Разумеется, это перемещение предполагалось сделать тогда, когда больной несколько оправится. Кокошкин совершенно справедливо говорил: «Милый, это все равно, что в одном со мной доме; я могу всякий день по нескольку раз его видеть; хозяйством им заниматься будет не нужно: кушанье будет готовиться у меня, и переносить его через улицу нетрудно; печи будет топить подряженный мною на год дровяник. К тебе также поближе; и куда бы ты ни поехал, тебе Арбатских ворот не миновать». Но кроме этих, весьма существенных, выгод, было еще обстоятельство, которое я считал не менее важным, — и не ошибся: в том же доме, в ближайшем соседстве от Писарева, жила наша первая актриса, М. Д. Синецкая; она любила Писарева, как брата, и я был уверен, что она не оставит его без участия и помощи, а умного женского участия при постели больного — ничто заменить не может. Писареву становилось день ото дня лучше, и через две недели, закутав с ног до головы в шубу и одеяла, мы перевезли его благополучно на новую квартиру. Больной, будучи очень слаб, радовался, как ребенок, новому своему помещению; мы также были все очень рады, потому что, конечно, в доме Кокошкина Писареву было гораздо спокойнее и лучше во всех отношениях.

Между тем вокруг больного жизнь текла своей неизменной чередой, и все дела шли своим обычным порядком. 4 января был дан бенефис г-жи Борисовой. Играли новую анекдотическую комедию-водевиль в трех действиях кн. Шаховского «Федор Григорьевич Волков, или День рождения русского театра». Эта пиеса тогда только была вполне всеми нами оценена, когда была сыграна. Должно признаться, что когда нам читал Шаховской свою комедию-водевиль, то мы не поняли ее достоинств, и я думал, что на сцене выйдет из нее какая-то возня и суматоха: так показалась мне она сложна и даже запутана. Для других могло служить оправданием то, что они слушали комедию-водевиль один раз, читанную самим кн. Шаховским, а моим читателям известно, каково было его чтение; но мне нет никакого извинения. Я брал рукопись к себе на дом, прочел и остался при моем прежнем мнении, хотя многие сцены отдельно, при чтении, мне понравились более. Мы делали даже замечания Шаховскому, но он не смущался, не слушал нас и, улыбаясь, говорил: «А вот посмотрите, что будет на сцене». Он был прав: именно сцену знал превосходно Шаховской. Он очень усердно занимался постановкою своей пиесы, а мы и не смотрели ее репетиции,

потому что все более или менее были отвлечены болезнью Писарева; когда же увидели «Волкова», превосходно разыгранного на сцене, то мы ахнули от изумления, признали «Волкова» одним из лучших произведений Шаховского и сознались в своей ошибке. Публика приняла пиесу с единодушным и шумным одобрением, вызвала автора и осыпала громом продолжительных рукоплесканий. Обо всем было подробно донесено Писареву, и он, несмотря на свою слабость, принял живое участие в торжестве Шаховского и очень ему радовался, сказав, что «так же, как и мы, не ожидал такого успеха».

Тринадцатого января, в бенефис г-на Булахова, была дана опера в трех действиях «Белая волшебница», уже давно переведенная Писаревым, кажется, с французского. Это был труд для денег: бенефициант заплатил ему триста рублей ассигнациями; все же другие водевили Писарева — были подарки артистам. К переводу «Белой волшебницы» переводчик был совершенно равнодушен, хотя он стоил ему большой работы: он должен был все арии писать уже на готовую музыку и располагать слова по нотам: дело очень скучное.

Со дня переезда на новую свою квартиру Писарев первое время чувствовал себя как будто свежее и крепче. Он вставал с постели в течение дня часа на два или на три; принимался даже продолжать свой перевод «Певериля» и слабою рукою, в разные приемы, перевел десять страниц, старательно скрывая от нас свою работу. Я с беспокойством замечал, что больной чувствовал усталость, несвободно дышал, несвободно откашливался, слышал боль и тяжесть в печени и не имел аппетита; пил же много, особенно ночью. На мои вопросы Высоцкий обыкновенно отвечал: «Хорошего мало, да и дурного покуда нет; как-нибудь дотянем до весны, а там поправимся».

Водевиль Писарева в двух действиях «Пять лет в два часа, или Как дороги утки», за несколько месяцев переведенный им с французского для бенефиса М. Д. Синецкой, шел 20 января. Когда князь Шаховской начал ставить пиесу на сцену, что обыкновенно делалось в течение последней недели перед бенефисом, Писарев пригласил к себе актеров и актрис и просил прочесть по ролям тех, которые не знали ролей наизусть. Писарев остался совершенно доволен всеми артистами, особенно Щепкиным и Рязанцевым; он беспрестанно улыбался, глядя на их мастерскую игру. В самом деле, они оба были хороши до совершенства, да и водевиль необыкновенно забавен и отличался прелестными куплетами. Писарев, вероятно, утомился и почувствовал себя хуже. Впрочем, через несколько дней он пришел в прежнее положение. Во время представления водевиль был принят

публикою с восхищением и громкими рукоплесканиями. По окончании пиесы большинство зрителей, не знавших о болезни Писарева, вызывало его с большим увлеченьем. Принуждены были объявить, что переводчик болен и его нет в театре; но переводчик и больной не оставался в этот вечер равнодушным к своему водевилю, нетерпеливо ждал известия, как он прошел, и был очень доволен его успехом. К несчастью, всякое волнение, даже приятное, вредило Писареву, а причин к волнению жизнь представляет много, да и сам больной всегда найдет их, особенно такой раздражительный больной, как Писарев. Чтение водевиля и рассказы о первом представлении его на сцене, без сомнения, были ему вредны. Я видел, что больной становился слабее и, наконец, почти уже не вставал с постели.

Двадцать седьмого января, в бенефис Щепкина, были разыграны последние труды для театра Писарева — в последний раз при его жизни. Первая пиеса, о которой я уже не один раз говорил, «Пятнадцать лет в Париже» и проч., показалась публике скучной, да и в самом деле она была длинна и разыгрывалась как-то вяло. Эта скука приготовила благосклонный прием моему переводу «Школы мужей». — Мольер, которого давно не слыхали на московской сцене, оживил зрителей; мастерская же игра Щепкина и всех других лучших наших артистов, потому что пиеса была обставлена превосходно, доставила решительный успех этой комедии. Если бы не лежал на сердце моем тяжелый камень, то, конечно, этот вечер доставил бы мне живейшее удовольствие. В первый раз я слышал свои стихи, произносимые на сцене[41] отличными актерами и актрисами, часто прерываемые взрывом смеха и рукоплесканий. Несмотря на сердечное горе, я не мог оставаться равнодушным. По окончании пиесы я был вызван горячо и единодушно. Это было лестно для моего самолюбия; но я по совести говорю, что не был ни увлечен, ни обольщен, а только взволнован; даже не вдруг согласился на убеждения Кокошкина и Загоскина выйти в директорскую ложу, чтобы раскланяться с публикой. Я сначала просил их объявить, что меня нет в театре, хотя это было бы странно и неловко, потому что все знакомые меня видели. В воображении моем беспрестанно представлялся Писарев, бледный, с осунувшимся лицом, тяжело дышащий, лежащий на своей постели, возле которой на стуле дремала сиделка… Водевиль Писарева «Средство выдавать дочерей замуж», которым заканчивался бенефисный спектакль, был разыгран прекрасно и принят публикою очень хорошо, но все не так, как он заслуживал. Вероятно, публика, поскучав в первой пиесе и повеселясь второю, уже утомилась и желала поскорее разъехаться. Впрочем, несколько голосов начали было громко

вызывать переводчика, но, вероятно, соседи сказали им о его болезни, и голоса замолкли. Писарев взял с меня честное слово, что я заеду к нему по окончании спектакля, как бы это ни было поздно. Он сказал мне, что у него с вечера нет настоящего сна, какая-то дремота, и что если я не заеду, то он и дремать не станет. Я заехал; Писарев не спал. Кто-то из наших общих приятелей успел уже прежде меня побывать у него прямо из театра, и Писарев встретил меня словами: «Поздравляю тебя с блистательным успехом. Моя первая пиеса не понравилась публике; но я рад, что хотя последним водевилем моим я разделил с тобою торжество». И бледная, исхудалая рука его, и в то же время горячая, слабо сжимала мою руку, а голос прерывался. Больной не вдруг отпустил меня, я принужден был рассказать ему много подробностей о ходе спектакля и уехал уже часа в два. Я никогда не видывал Писарева в эту пору, и мне показалось, что он находится в лихорадочном состоянии. У меня родилось подозрение, что у больного всякий день, по ночам, бывает лихорадка, разрушающая его ослабленный организм. Никогда еще мысль о неизбежной и скорой смерти Писарева не представлялась мне с такою достоверностью.

Я уже с неделю не видал Высоцкого. Он ежедневно навещал больного, но всегда в те часы, когда я сидел в цензурном комитете. На другой день поутру, после ночной беседы с Писаревым, я отправился прямо к Высоцкому и, не застав его дома, оставил ему записку, в которой сообщал мое подозрение относительно ночной изнурительной лихорадки у больного. Заехав к Писареву, я нашел его несколько в лучшем положении и, расспросив окружающих, узнал, что у больного к утру был пот, после которого он почувствовал облегчение. Я уехал в комитет, и опять Высоцкий приезжал без меня и никаких перемен в лекарствах не сделал. На третий день я заехал к Писареву из комитета, и сиделка подала мне, потихоньку от больного, записку Высоцкого. Он писал, что мои беспокойства напрасны, что никакой изнурительной лихорадки нет, а есть волнение перед выступлением пота, происходящего от слабости. При всем моем уважении к знаменитому врачу я не мог ему вполне поверить. При ближайших моих наблюдениях над больным в разные часы дня и ночи я еще более убедился в существовании лихорадки. Я виделся потом не один раз с Высоцким, доказывал ему справедливость моего заключения; доктор упорно не соглашался, хотя и сделал некоторые изменения в лекарствах. Я до сих пор не могу понять, отчего происходило такое упорство? Мог ли такой славный, практический врач, каким был тогда Гр. Як. Высоцкий, не видеть изнурительной лихорадки у больного и близкой его

опасности, очевидной для всех? Если же он видел, то не мог из одного упрямства утверждать противное? Я думаю теперь, что он хорошо и ясно понимал дело, знал неминуемую гибель и не сказывал мне и другим, не желая нас бесполезно тревожить. Так шло время до половины февраля; мы собирались иногда у Писарева по вечерам, человека по два и по три, не более, часа за три перед обедом. В эту пору он чувствовал себя несколько крепче; играли с ним, лежащим в постели, в карты, а если он скоро утомлялся, то мы играли одни между собою, у его постели, а он смотрел кому-нибудь в карты и занимался игрою; но скоро и это развлечение стало его утомлять. Чтения он не мог уже слушать: оно раздражало его слух и головные нервы. Итак, нам оставалось сидеть у него и говорить между собою о таких предметах, которые бы его не возмущали, а развлекали.

Медленно тянулся великий пост. Театральная деятельность прекратилась, а вместе с ней иссяк источник разных новостей, анекдотов и происшествий, которые прежде мы могли сообщать больному и в которых он не переставал принимать иногда даже живое участие. Последнее житейское событие, обратившее на себя внимание Писарева, — было публичное собрание Общества любителей русской словесности, в котором я должен был прочесть написанное Писаревым «Похвальное слово Капнисту». Я читал его много раз сам для себя и некоторые места знал наизусть. Я обработал, как умел, свое чтение и надеялся, что сочинение Писарева произведет сильное впечатление на слушателей. Писарев это знал и, будучи не в состоянии выслушать всю пиесу, просил меня прочесть ему некоторые места. Он был вполне доволен; впрочем, он был всегда пристрастен к моему чтению. В этом же публичном заседании Общества я должен был читать отрывки из моего перевода осьмой сатиры Буало «На человека». Писарева очень занимало и это чтение, потому что один из моих отрывков, по его мнению, как раз можно было применить к издателю «Московского телеграфа». Наконец, наступил вечер публичного собрания Общества. Зала была полна посетителей и посетительниц из лучшего московского круга, в том числе находился и московский военный генерал-губернатор, кн. Дм. Вл. Голицын. Все ученые, литераторы, дилетанты наук и литературы, артисты по всем отраслям искусств — все были там. Это было самое цветущее время Общества. Я не ошибся в моем ожидании: «Похвальное слово» Писарева в память Капниста было выслушано с большим вниманием, сочувствием и живейшими знаками одобрения. Я читал очень удачно. Мысль, что красноречивая и одушевленная речь об умершем уже в старости поэте — написана молодым, умирающим поэтом и

драматическим писателем, без сомнения, потрясала души всех слушателей, способных сочувствовать такому горестному событию. Нечего и говорить, как я сам был глубоко проникнут этим чувством и как оно сильно выражалось в моем чтении. Потом я читал отрывки из моего перевода, также весьма удачно и с большим успехом. Читая нижеприведенные стихи, я вдруг увидел, прямо против меня стоящего, Полевого. Все, знавшие нас обоих и наши отношения, обратили на него глаза, многие нескромно улыбались, и смущенный Полевой исчез в толпе, как скоро я кончил чтение.

Итак, трудись теперь, профессор мой почтенный,
Копти над книгами, и день и ночь согбенный!
Пролей на знания людские новый свет,
Пиши творения высокие, поэт, —
И жди, чтоб мелочей какой-нибудь издатель,
Любимцев публики бессовестный ласкатель.
Который разуметь язык недавно стал,
Пером завистливым тебя везде марал…
Конечно, для него довольно и презренья!..
Холодность публики — вот камень преткновенья,
Вот бич учености, талантов и трудов!

и проч.

Не нужно доказывать, что мой поступок был вовсе неумышленный: я перевел сатиру в деревне, еще не зная о существовании Полевого. Я никогда не замечал его в числе слушателей во время публичных заседаний Общества и, конечно, не мог ожидать, чтоб он явился для выслушания стихов, которые можно было применить к нему, и чтоб он встал со стула, как нарочно, для привлечения на себя общего внимания. Когда я, проехав из Общества прямо к Писареву, рассказал ему это происшествие, он улыбнулся прежнею своею злою улыбкой, которая говорила: «ништо ему». С сожалением я должен сказать, что он ненавидел Полевого.

Писареву становилось хуже и хуже. 1 марта хотел было он написать записку и поздравить одну очень любимую и уважаемую им женщину со днем ее рожденья, но дрожащая его рука писала одни каракульки; он бросил с досадой перо и сказал: «Таким почерком я только напугаю». На другой день он просил меня продать книгопродавцу Ширяеву «Белую волшебницу», «Пятнадцать лет в Париже» и четыре водевиля: «Дядя напрокат», «Две записки», «Как дороги утки» и «Средство выдавать дочерей

замуж». — «Продай за что-нибудь, — сказал мне Писарев слабым голосом. — Ширяев предлагал мне прежде по сто пятьдесят рублей за каждый водевиль в одном акте». Я поехал прямо к Ширяеву и продал все шесть пиес, числом одиннадцать актов, за тысячу рублей ассигнациями. Возвращаясь из комитета, я заехал к Писареву и отдал ему деньги. Он был очень доволен, спросил свой маленький ларчик, положил в него тысячу рублей и запер ключиком. Кончив эту, для него уже тяжелую работу, он сказал с какой-то странной улыбкой: «Пригодятся».

Я повидался с Высоцким; он сказал мне, что с некоторого времени у больного появилось опять раздражение в печени, что завтра он ощупает его при мне, для чего и просил, чтоб я непременно приехал в три часа. «Писарев уже два раза не дался осмотреть себя, — продолжал Григорий Яковлевич, — а вас, вероятно, послушается: мне необходим хирургический осмотр».

Высоцкий приехал в условленный час, и Писарев весьма неохотно, но согласился дать себя ощупать. Как только Высоцкий впустил свои пальцы под ребра больного, больной болезненно вскрикнул, оттолкнул с досадою руку доктора и раздраженным голосом сказал: «Какой вы!.. настоящий хирург! Вы мне бок проткнули!» Высоцкий не отвечал и более не беспокоил больного, прописал новое лекарство и, выйдя со мною в другую комнату, сказал: «Ну, теперь дело плохо: у него рецидив воспаления в печени, а он так слаб, что я даже пиявок не смею поставить». — Я давно чувствовал, что дело плохо, и говорил Высоцкому не один раз; я напомнил об этом и теперь; но Высоцкий утверждал, что плохо стало недавно. «Скажите, Григорий Яковлевич, прямо: имеете ли вы какую-нибудь надежду?» — спросил я. — «Как доктор — никакой; а как христианин — верю в чудеса божьего милосердия», — отвечал Высоцкий.

Я сообщил Кокошкину и другим роковой приговор Высоцкого. Все были глубоко огорчены. Подумав вместе, мы решились, однако, собрать консилиум. Я поехал к Высоцкому и сообщил ему наше желание. Он был очень доволен и сказал, что он сам желал консилиума, не для больного, а для себя, но не хотел вводить его в бесполезные издержки. Григорий Яковлевич, по моему желанию, пригласил на консилиум Мудрова и Маркуса.

Когда на другой день узнал Писарев о назначенном консилиуме, то сквозь зубы сказал: «А, понимаю». Напрасно я старался его уверить, что это я требовал консилиума, что Высоцкий и слышать о нем не хотел, считая его ненужным, и что он даже рассердился на меня: Писарев слегка улыбался, молчал и тяжело дышал. Консилиум собрался в назначенный час. Каждый из докторов о чем-нибудь спросил больного; кто пощупал пульс,

кто посмотрел язык; но до бока Писарев не позволил дотронуться. При больном нельзя было говорить по-латыни (он знал этот язык), и потому Высоцкий, перед консилиумом, в другой комнате рассказал историю болезни. После консилиума доктора опять ушли в эту комнату, но уже не совещались, а прописав, для успокоения больного, какие-то невинные лекарства, разъехались. У подъезда, садясь в карету, М. Я. Мудров, никогда не говоривший по-французски, сказал мне: «Il est perdu, mon cher». [42] — Я предчувствовал это давно, положительно знал из последних слов Высоцкого, но слова Мудрова прозвучали в моих ушах каким-то новым, будто неожиданным смертным приговором. Мне бы следовало сейчас воротиться к больному, но я долго не мог овладеть собою и прийти к нему с спокойным лицом. Я велел сказать, что поехал за лекарством, а сам просидел в другой комнате и вволю поплакал. Лились и другие, искренние слезы… но слезы ничему не помогают. Лекарства принесли из аптеки. Я вооружился твердостью и с веселым лицом поспешно вошел к Писареву: больной дремал, и я в первый раз заметил, что он тихо бредит. С этой ночи он часто впадал в забытье и как скоро закрывал глаза — сейчас начинал бредить. Всех узнавал, но говорил мало и с трудом. 12 марта я приехал к Писареву поутру, ранее обыкновенного, и сейчас заметил какое-то неестественное одушевление в его глазах, и больной тверже обыкновенного сказал мне: «Ты кстати приехал. Посиди у меня, я хочу приобщиться. Это лекарство лучше». Я отвечал, что могу остаться, сколько ему угодно. Церковь Бориса и Глеба у Арбатских ворот находилась в нескольких саженях, прямо против квартиры Писарева. Вскоре пришел священник. Писарев исповедался, приобщился спокойно и твердо, и когда я вошел к нему в комнату, то был поражен выражением его лица: на нем сияла светлая радость! — «Поздравь меня, друг мой, — сказал больной довольно звучным голосом. — Я надеюсь, что мне будет лучше; только жаль, что свечка погасла: это дурная примета». Часа два находился Писарев гораздо в лучшем положении, и слабый луч надежды начинал прокрадываться в мое сердце. Все наши друзья перебывали у него поодиночке, каждый минуты на две, чтобы не утомить больного. Часа в два пополудни Писарев опять впал в забытье. Бред усилился — и не прекращался. 15 марта, рано утром, приехал я к больному и нашел его уже на столе. В пять часов утра догорело пламя жизни и тихо погасло. Невозмутимое спокойствие, ум и благообразие выражались во всех чертах лица покойника.

Так кончил свою жизнь, на двадцать седьмом году, Александр Иванович Писарев. Великие надежды возлагали на него все,

коротко знавшие его необыкновенный ум, многосторонний талант, душевную энергию и нравственные силы. Он похоронен в Покровском монастыре.

Для гг. любителей биографии и библиографии считаю нелишним сообщить некоторые сведения о Писареве и о его театральных сочинениях, написанных и сыгранных до моего переезда в Москву. Эти сведения могут служить дополнением к литературной деятельности Писарева, о которой я говорил в моих «Воспоминаниях»; они взяты из писем его ко мне.

Писарев родился 1803 года, июля 14-го, Орловской губернии, Елецкого уезда, в селе Знаменском, принадлежавшем его отцу. По пятому году Писарев не только умел читать по-русски и по-французски, но даже любил чтение. Вообще, в детстве своем он возбуждал удивление во всех окружавших его — своим рановременным, необыкновенным умом.[43]

Тринадцати лет он был отдан в университетский пансион и через четыре года вышел из него вторым учеником десятого класса. Имя его, как отличного воспитанника, было написано на золотой доске. Еще в пансионе он с увлечением занимался русской литературой, а по выходе из него вполне предался ей. Сначала писал множество стихов, но потом совершенно овладела им московская театральная сцена. Едва ли не первым трудом его для театра был перевод стихами с французского (кажется, с кем-то вместе) комедии «Проказники». Первый водевиль, переведенный Писаревым, назывался «Лотерея», который, вероятно, не был игран, потому что никто из театральных старожилов о том не помнит; но у меня есть письмо Писарева, в котором он пишет, что посылает в цензуру свой первый водевиль «Лотерея». Потом следует водевиль «Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье», игранный 24 апреля 1824 года в пользу Сабуровых. Водевиль имел блистательнейший успех. Особенно понравился куплет:

Известный журналист Графов (Каченовский)
Задел Мишурского (кн. Вяземского) разбором.
Мишурский, не теряя слов,
На критику ответил вздором;
Пошли писатели шуметь,
Писать, браниться от безделья…
А публике за что ж терпеть
В чужом пиру похмелье?

Второй водевиль Писарева «Проситель» не имел большого успеха. В 1824 же году, 4 ноября, в пользу г. Сабурова (?), была дана комедия «Наследница», переделанная Писаревым стихами из французского водевиля: она также не имела успеха; но зато игранный с нею в первый раз водевиль «Хлопотун, или Дело мастера боится» был принят с восторгом. Щепкин в роли хлопотуна был совершенство. Вероятно в 1825 году был дан водевиль, написанный Писаревым вместе с другими литераторами (с М. А. Дмитриевым и П. Н. Араповым), «Встреча дилижансов». Он был жестоко ошикан публикой за резкость последнего куплета, написанного Писаревым:

Не помню я, в какой-то книжке
Писали за сто лет назад,
Что пьесу хвалят понаслышке
И понаслышке же бранят;
Но мы желаем знать, какое
Сужденье ваше про нее?
Скажите… только не чужое,
Скажите — что-нибудь свое!

Куплет был обращен прямо к публике и хотя очень мило пропет Н. В. Репиной, но публика крепко обиделась и, вместо вызова, наградила переводчика общим шиканьем. Зато через неделю публика смягчилась и принуждена была хлопать, кричать браво и форо куплетам Писарева и вызывать его за новый водевиль «Тридцать тысяч человек, или Находка хуже потери». Потом следует водевиль «Забавы калифа, или Шутки на одни сутки», игранный в пользу капельмейстера Шольца. Водевиль как-то особенного успеха не имел, хотя заслуживал его. В том же году, октября 8-го, был игран водевиль, переделанный Писаревым с французского, в *шести* действиях, «Волшебный нос, или Талисман и финики». Это был пустой фарс, написанный для бенефиса танцовщицы Ворониной-Ивановой. В 1825 году в драматическом альманахе, изданном Писаревым и Верстовским, напечатан пролог в стихах к исторической комедии «Христофор Колумб», которая давно уже занимала Писарева; он назвал свой пролог «Несколько сцен в кондитерской лавке». Я выписываю небольшой отрывок из этого пролога, чтоб показать образ мыслей и направление Писарева, который вывел себя под именем Теорова. В этом прологе один из литераторов, названный Фиалкиным, утверждает, что у нас нет разговорного языка; Теоров возражает ему.

Теоров

Так думайте, пишите по-французски!
Потеря от того ничуть не велика.
Нет разговорного у русских языка!
Каким же языком вы говорите сами?
Каким же языком теперь я спорю с вами?
Нет разговора! так! не будет до тех пор,
Пока не надоест нам чужеземный вздор,
Пока не захотим по-русски мы учиться.
Теперь, благодаря ученью, можно льститься,
Что мы все русское полюбим, все свое;
Теперь сбывается желание мое:
Французский ваш жаргон уж многие бросают,
И… дамы, наконец, по-русски понимают!
И вы неправы, я еще вам повторю.

Фиалкин

За что ж вы сердитесь? Я просто говорю,
Что не богаты мы хорошими стихами.
Кто ж в этом виноват?

Теоров

Вы, сударь!

Фиалкин

Я?

Теоров

Вы сами
И вам подобные, которым все свое
Не нравится, кому противно в русских все,
Которым Кребильон известен весь до слова,
А скучны лишь стихи «Димитрия Донского»;
Которые, сударь, везде наперерыв
Читают Мариво, Фонвизина забыв,
И, выбрав Демутье предметом обожанья,
Бессмертной «Ябеды» не знают и названья!

Театра нашего вот вечные враги!..

Опера-водевиль в трех действиях «Три десятки, или Новое двухдневное приключение», одобренная к представлению 24 сентября 1825 года, вероятно, была сыграна в том же году. «Три десятки», хотя несколько чувствительного и даже серьезного содержания, должны были, по своим прекрасным куплетам, доставить Писареву новое торжество. Но тут было особенное обстоятельство, помешавшее его успеху. Там находился всем известный тогда куплет: куплет весьма натянутый и даже плохой, но возбудивший страшный шум в партере выходкой против Полевого. Издатель «Телеграфа» был тогда в апогее своей славы, и большинство публики было на его стороне. Вот куплет:

В наш век, на дело не похоже,
Из моды вышла простота,
И без богатства ум — все то же,
Что без наряда красота.
У нас теперь народ затейный,
Пренебрегает простотой:
Всем мил цветок оранжерейный,
И всем наскучил *полевой*.

Едва Сабуров произнес последний стих, как в театре произошло небывалое волнение: поднялся неслыханный крик, шум и стукотня. Публика разделилась на две партии: одна хлопала и кричала браво и форо, а другая, более многочисленная, шикала, кашляла, топала ногами и стучала палками. По музыке следовало повторить последние два стиха, но оглушительный шум заставил актера Сабурова — а может быть, он сделал это и с намереньем (все артисты очень любили Писарева) — не говорить последнего стиха; как же только шум утих, Сабуров без музыки, громко и выразительно произнес: «И всем наскучил полевой». Можно себе представить гнев защитников Полевого! Сильнее прежнего начался шум, стук и шиканье наполнили весь театр и заглушили голоса и хлопанье друзей Писарева. Мало этого: публика обратилась к начальству, и вместо *полевой* было поставлено *луговой*; наконец, и этим не удовольствовались, и куплет был вычеркнут. В конце этого же водевиля был еще куплет на Полевого, гораздо оскорбительнейший; но против него не так сильно восстали Телеграфисты — и сторона Писарева преодолела. Вот он:

Журналист без просвещенья
Хочет умником прослыть;
Сам, не кончивши ученья,
Всех пускается учить:
Мертвых и живых тревожит…
Не пора ль ему шепнуть,
Что учить никак не может,
Кто учился как-нибудь.

В «Трех десятках» много прекрасных куплетов, и я приведу еще два, вероятно, никому не известные. Странная судьба постигла ату пиесу: без всякой причины публика стала мало ездить в нее, и она скоро была снята с репертуара. Вот куплет молодого человека, который пробовал служить и нашел, что очень тяжело трудиться без всякой оценки пользы.

И тут я очень испытал,
Что совестно трудиться даром,
Что честность — мертвый капитал,
А правда сделалась товаром.
Я видел множество людей,
Умевших разными путями
Занять премного должностей —
Не занимаясь должностями.

И вот другой куплет старого служаки-полковника, израненного в сражениях:

Я верно долг мой исполнял;
В сраженьях жертвовал собою
И вечно грудью то бирал,
Что многие берут спиною.
Защитника родной страны
С почтеньем, верно, всякий примет;
Пусть могут снять с меня чины,
Но ран никто с меня не снимет.

Об остальных комедиях и водевилях Писарева я уже говорил. Но у меня есть одна его рукописная комедия в пяти действиях, в прозе, взятая из сочинений Пикара: «Внучатный племянник, или Остановка дилижанса». Эта комедия не была играна по неизвестным причинам.

1858. Апрель.
Москва.

ПРИМЕЧАНИЯ

Закончив подготовку к печати второго издания «Семейной хроники и Воспоминаний», С. Т. Аксаков приступил к работе над новым циклом мемуаров, посвященных друзьям его литературной юности, — «Литературные и театральные воспоминания». 16 июля 1856 г. писатель сообщал сыну Ивану: «Времени свободного у меня довольно, а потому принялся я писать литературные воспоминания, в которых будет заключаться знакомство с Загоскиным, кн. Шаховским, Кокошкиным и Писаревым; о последнем едва ли кто другой так много знает, как я. Вдохновения для этой статьи не нужно, а потому, работая ежедневно хотя понемногу, я надеюсь написать листа четыре печатных для 3-го нумера «Беседы», для которого, говорят, нет материалов» (Л. Б., ГАИС III, Ш/20д).

«Литературные и театральные воспоминания» охватывали эпоху 1812–1830 гг., непосредственно следовавшую за периодом, который освещается в гимназических и университетских воспоминаниях Аксакова. Новое произведение должно было, по замыслу автора, явиться дополнением и продолжением его мемуаров о Державине, Шушерине, Шишкове. Все эти воспоминания близки между собой по характеру и методу воспроизведения исторического прошлого. Они отличаются строгой фактичностью, подчеркнуто «деловой» манерой повествования и вместе с тем почти лишены того свободного и широкого поэтического обобщения, которое было свойственно автобиографической трилогии Аксакова.

Впервые «Литературные и театральные воспоминания» были опубликованы в журнале «Русская беседа» (1856, кн. IV, стр. 1–52; 1858, кн. I, стр. 5–37, с датой: «1857 года, января 10 дня. Москва»; кн. II, стр. 52–84; кн. III, стр. 9–43, датировано апрелем 1858 г.) и затем вторично напечатаны в книге «Разные сочинения С. Т. Аксакова» (М. 1858, стр. 3–234). Воспоминания были сопровождены в этом издании «Приложениями», состоявшими из трех статей Аксакова, напечатанных в 1830 г. в «Московском вестнике» («О заслугах князя Шаховского в драматической словесности», о романе Загоскина «Юрий Милославский», «Письмо к издателю «Московского вестника» о значении поэзии Пушкина, а также заметки от сочинителя). «Разные сочинения» включали еще в себя «Буран», статью «Несколько слов о М. С. Щепкине», «Воспоминания о Д. Б. Мертваго» и обширную биографию М. Н. Загоскина.

«Разные сочинения» были встречены современной Аксакову

критикой весьма прохладно, или, как писал рецензент «Русского слова», с «каким-то равнодушием и даже кой-где с насмешкою» («Русское слово», 1859, № 4, Библиография, стр. 72). Сравнительно с «Семейной хроникой» новая книга представлялась большинству критиков слишком «субъективной» по содержанию и рассчитанной на гораздо более узкий круг читателей, чем прежние произведения Аксакова.

«Разные сочинения» были подвергнуты критике и Н. А. Добролюбовым. Высоко оценивая «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука», Добролюбов вместе с тем отмечал присущую аксаковскому таланту некоторую односторонность, которая особенно наглядно проявилась в его «Литературных и театральных воспоминаниях». Автор оказался в них, по мнению критика, «слишком несвободен» в отношении к тем личностям и явлениям жизни, которые его занимали в молодости. «Мелочная обстоятельность», благодушная сосредоточенность на малозначительных подробностях и «некоторые остатки наивного подобострастия» к бывшим знаменитостям — все это представлялось Добролюбову слишком «старомодным». «В его рассказах, — писал критик, — мало объективности, лирические порывы беспрестанно мешают эпическому спокойствию рассказа; заметно, что автор недостаточно возвысился над тем миром, который изображает» (Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. II, 1935, стр. 456).

Эти строки были написаны в 1859 г., в один из самых политически острых моментов истории России XIX века. Революционная демократия требовала от писателей активного вмешательства в современную жизнь, страстного обличения устоев крепостнического режима. С этой точки зрения воспоминания Аксакова мало чем могли импонировать Добролюбову, и он был прав, резко их критикуя. В наше время аксаковские воспоминания воспринимаются несколько иначе. Для советского читателя они представляют прежде всего интерес познавательный. Написанные пером первоклассного художника, они достоверно и ярко рисуют различные стороны духовной жизни русского общества 10–20-х годов XIX века, содержат в себе немало конкретных и интересных фактов, характеризующих атмосферу литературного и театрального быта, нравов той поры. Наконец, со страниц аксаковских мемуаров, словно живые, предстают перед нами люди — не очень обширная, но рельефно выписанная галерея деятелей русской литературы и театра начала XIX века. И сколь бы ни казались ныне незначительными многие из персонажей этой галереи, они сохраняют свое значение определенного исторического типажа, помогающего нам

воссоздать живой облик минувшей эпохи.

Фактическая достоверность аксаковских мемуаров хорошо известна. М. А. Дмитриев, один из друзей молодости писателя, в своих неопубликованных воспоминаниях недаром отказывается «распространяться о театре», ссылаясь на то, что этот «период московской сцены и актеры того времени описаны подробно С. Т. Аксаковым — в его воспоминаниях, — знатоком, с которым я не могу сравниться» (М. А. Дмитриев, Воспоминания, Л. Б., ф. Музейный, М. 8184/1, ч. II, л. 29).

Готовя свой новый цикл мемуаров в 1858 г. к переизданию, Аксаков внес в текст более ста двадцати стилистических исправлений и добавил несколько подстрочных примечаний. В настоящем издании «Литературные и театральные воспоминания» печатаются по тексту «Разных сочинений». В рукописи этих мемуаров имеются некоторые разночтения с печатным текстом. Наиболее значительные из них приведены в примечаниях.

Некоторые имена, обозначенные у С. Т. Аксакова инициалами, в тех случаях, когда они могли быть расшифрованы, даются полностью.

Ввиду большого количества упоминаемых собственных имен в тех произведениях, которые включены в настоящий том и значительную часть следующего, оказалось целесообразным дать в конце четвертого тома аннотированный именной указатель.

Стр. 8. ***…напечатанной в «Российском феатре»***. — «Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений» — осуществлявшееся Академией наук издание, которое включало в себя наиболее значительные произведения русской драматургии; выходило в 1786–1794 гг., в 43 частях.

Стр. 9. ***…рукописной сатиры кн. Горчакова.*** — Строки, цитированные Аксаковым в основном тексте и в подстрочном примечании, — из «Послания к кн. С. Н. Долгорукову», полностью напечатанного в «Сочинениях кн. Д. П. Горчакова» (М. 1890). Отрывок из этой сатиры под названием «Невероятные» был опубликован в «Памятнике отечественных муз на 1827 год».

«Гуситы под Наумбургом» (СПБ. 1807) и ***«Попугай»*** (М. 1796) — пьесы Коцебу.

«Матильда…» — Точное название романа популярной в свое время французской писательницы Марии Коттен — «Матильда, или Записки, взятые из истории крестовых походов», в шести частях, пер. Д. Бантыша-Каменского, М. 1806.

«Памятник друзей Н. П. Николеву» — эта брошюра вышла в Москве в 1819 г.

Стр. 10. ***…я переводил тогда «Филоктета»***. — Об аксаковском переводе «Филоктета» см. очерк «Яков Михайлович Шушерин», т. 2 наст. изд.

Стр. 17. ***Дон Ранудо де Калибрадос*** — герой одноименной комедии Коцебу, перев. с нем. (М. 1805).

Стр. 20. ***«Школа мужей»*** в переводе Аксакова была впервые поставлена на петербургской сцене 13 мая 1819 г., но напечатана лишь в 1886 г. в т. IV его полного собрания сочинений; переводу было предпослано стихотворное посвящение А. С. Шишкову.

Стр. 23. ***В 1836 году С. Н. Глинка выдал книгу…*** — В тексте С. Т. Аксакова ошибочно было указано, что книга С. Н. Глинки «Записки о 1812 годе» вышла в 1812 г.

Стр. 27. ***«Липецкие воды»***. — Комедия А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», в которой высмеивалось литературное направление В. А. Жуковского, была опубликована в Петербурге в 1815 г. и в том же году поставлена на сцене.

«Комедия против комедии, или Урок волокитам» — комедия М. Н. Загоскина, вышла в Петербурге в 1816 г.

Стр. 33. ***«Гваделупский житель»*** — комедия французского драматурга Мерсье (1740–1814), перев. Н. Брусилова (СПБ. 1800).

«Тон модною света» — комедия в четырех действиях, перев. с нем. А. И. Шеллера (М. 1800), ставилась на сцене Большого театра в Петербурге.

Стр. 37. ***«Два Фигаро»*** — комедия в 5 действиях, перев. с франц. Баркова (М. 1800).

Стр. 40. ***«Холостой заряд»*** — комедия Коцебу, перев. с нем. И. Ренофанца (СПБ. 1827).

Стр. 42. ***Рифейскиегоры*** — Уральские.

Стр. 43. ***«Говорун»*** — комедия французского драматурга Луи Буасси (1694–1758); «переложена на русские нравы» Н. И. Ильиным (М. 1807) и Н. И. Хмельницким (СПБ. 1817).

Стр. 44. ***«Два Криспина»***. — Вероятно, имеется в виду комедия Лесажа (1668–1747) «Криспин, соперник своего господина» (М. 1779).

Стр. 47. ***«Десятая сатира»*** Буало в переводе Аксакова вышла отдельным изданием в Москве в 1821 г., с посвящением Ф. Ф. Кокошкину.

Стр. 48. ***«Уральский казак», «Элегия в новом вкусе», «Послание к князю Вяземскому…»***. — См. т. 4 наст. изд.

Стр. 49. ***В этом же году был я выбран в действительные члены Общества любителей российской словесности…*** — Процедура избрания Аксакова зафиксирована в протоколах заседаний общества. В «Протоколе 55-го заседания, чрезвычайного», состоявшегося 8 марта 1821 г., указано, что

избраны большинством голосов в действительные члены общества пять человек, в их числе — С. Т. Аксаков, в отношении которого голосование было единогласным. 30 апреля 1821 г. состоялось следующее, 56-е заседание общества, на котором вновь избранным членам были вручены дипломы. Председатель общества в своей приветственной речи заявил: «При сем избрании вас в члены Общества нашего, мы питаем себя приятною надеждою, что найдем в вас и верных друзей и ревностных сподвижников в трудах своих. Ваши достоинства и вкус ко всему изящному служат в том верною за вас порукою» («Труды Общества любителей российской словесности», 1821, ч. XX. стр. 253–254).

Затем с ответной речью выступил С. Т. Аксаков. Воспроизводим целиком ее текст:

«Милостивые государи!

Конечно, одно снисхождение руководствовало вами, когда вы удостоили меня лестной чести, в строгом смысле мною нимало не заслуженной, избрания в число сочленов ваших. Примите, милостивые государи, искреннее изъявление моей благодарности, хотя слабо выраженное, но сильно мною ощущаемое. Я поистине должен гордиться, видя себя посреди мужей, отличившихся своими дарованиями и полезными трудами на поприще отечественной словесности. Не имея ни того, ни другого — предлагаю все, что могу: мое усердие, мое искреннее желание хотя со временем сделать что-нибудь достойное вас, достойное цели вашей, высокой цели, смею сказать, со славою Отечества нашего нераздельной: установить правила истинного вкуса и тем предохранить юные таланты от заблуждения; определить свойства богатого языка российского и тем облегчить путь на сем поприще трудящихся; возбудить любовь к отечественной словесности и внимание к занимающимся ею — внимание, без которого хладеет ревность к трудам, увязают дарования!

Вновь избранные члены в последнем чрезвычайном собрании, с которыми вместе и я удостоился сей чести, сделали мне лестное препоручение: изъявить всему достопочтенному Обществу чувствительную их благодарность, их уверения, что они принимают за отличную честь — звание сочленов ваших; что они употребят все усилия оправдать вашу доверенность, ваше лестное об них мнение» («Труды Общества любителей российской словесности», 18. 21, ч. XX. стр. 254–255).

На том же заседании Аксаков прочитал свою басню «Роза и Пчела» и с этого времени стал постоянным сотрудником «Трудов Общества».

Стр. 50. Профессор и ректор Московского университета ***А. А. Прокопович-Антонский*** был одним из основателей и первым председателем Общества любителей российской словесности при Московском университете, основанного в 1811 г. Перерыв в деятельности общества, о котором пишет Аксаков, имел место с 1837 по 1858 г. (см. «Общество любителей российской словесности при Московском университете, 1811–1911. Историческая записка и материалы за сто лет», М. 1911, стр. 40).

Стр. 52. ***Я перевел осьмую сатиру Буало***. — См. т. 4 наст. изд.

Статья моя о театре... — Статья Аксакова называлась «Мысли и замечания о театре и театральном искусстве» (см. т. 4 наст. изд.).

...не знаю почему, Каченовский не напечатал моей критики. — Аксаков запамятовал. Статья «О переводе «Федры», о которой он говорит, была напечатана в «Вестнике Европы» в форме письма к редактору этого журнала, 1824, № 1, стр. 40–53 (см. т. 4 наст. изд., стр. 5).

Стр. 57. ***...перед началом представления первой части «Днепровской русалки»***. — Речь идет о популярной в начале XIX века комической опере Кауэра и Кавоса в трех частях: «Русалка» (СПБ. 1804), «Днепровская русалка» (СПБ. 1805) и «Леста, днепровская русалка» (СПБ. 1806), перев. с нем., автор русского текста Н. С. Краснопольский.

Стр. 65. ***...да и дело того не стоило***. — После этих слов в рукописи «Литературных и театральных воспоминаний» имелась любопытная подробность об А. А. Шаховском, позднее автором зачеркнутая и таким образом не попавшая в печатный текст: «Я был сильно предубежден против кн. Шаховского как против человека. Шушерин наговорил мне об нем очень много дурного. По его словам, Шаховской был гонитель всех актеров, которые не были его учениками» (Л. Б., ф. Аксакова, III, 6б., л. 4 об.).

Стр. 71. ***Круг людей, в котором я жил, был весь против Полевого, и я с искреннею горячностью разделял его убеждение.*** — Отношения Аксакова с издателем «Московского телеграфа» были очень напряженными. Резкие и чаще всего справедливые отзывы Н. Полевого о творчестве А. И. Писарева, Загоскина, Шаховского восстановили против него весь круг аксаковских друзей. В ожесточенной полемике, которая велась в течение шести-семи лет, участвовал и Аксаков. И политическая и эстетическая позиция Н. Полевого была для него неприемлема. Либеральное, буржуазно-просветительское направление «Московского телеграфа» казалось Аксакову слишком радикальным. Не принимал Аксаков и того идеала

романтического искусства, которому поклонялся Полевой. В одной из своих полемических заметок Аксаков без обиняков писал об издателе «Телеграфа», что «лицо, представляемое им в нашей литературе, не только смешно, но и вредно» (т. 4 наст. изд., стр. 79). Надо, впрочем, сказать, что в полемику с Полевым Аксаков был втянут не только принципиальными разногласиями с ним, но и чувством «обиды» за своих друзей.

Стр. 73. Комедия В. И. Головина ***«Писатели между собой»*** вышла в Москве в 1827 г.

Стр. 74. ***…из известного романа Вальтер-Скотта.*** — Имеется в виду роман «Приключения Нигеля» (М. 1822).

Стр. 89. ***…применяли ко мне стихи Пушкина: «Мне душно здесь, я в лес хочу»*** — из поэмы «Братья разбойники».

Стр. 93. ***…пойдут отлично «Попугаи» Хмельницкого.*** — Имеется в виду опера-водевиль «Бабушкины попугаи», переделанная с французского Н. И. Хмельницким, музыка А. Н. Верстовского; впервые была сыграна на петербургской сцене в 1819 г.

Стр. 95. ***Стихотворение «Рыбачье горе»***. — См. т. 4 наст. изд.

Стр. 96. ***«Шекснинска стерлядь золотая»*** — Строка из стихотворения Державина «Приглашение к обеду».

Стр. 107. ***Статейку мою я помещаю в «Приложениях».*** — См. т. 4 наст. изд., стр. 112.

Стр. 108. ***…и сдержал мое обещание.*** — Аксаковский перевод «Скупого» был закончен в 1828 г. В девятой книжке «Московского вестника» за 1828 г., процензурованной Аксаковым 9 мая, было напечатано: «С. Т. Аксаков окончил перевод комедии Мольеровой «Скупой». 10 июля 1828 г. перевод комедии был разрешен театральной цензурой к представлению». Этот перевод никогда при жизни Аксакова не появлялся в печати и впервые увидел свет в т. IV его полного собрания сочинений (СПБ. 1886).

Стр. 111. ***В «Вестнике Европы»***. — Журнал «Вестник Европы» был основан в 1802 г. Н. М. Карамзиным, выходил в Москве до 1830 г.; с 1805 г. до прекращения издавался преимущественно М. Т. Каченовским (о позиции «Вестника Европы» и участии в нем Аксакова см. во вступительной статье к т. 1 наст. изд.).

«Сын отечества» — петербургский журнал, выходивший в 1812–1852 гг.; до 1825 г. был одним из наиболее видных и прогрессивных изданий, после восстания декабристов стал органом реакции.

«Северная пчела» — реакционная газета, выходившая в Петербурге в 1825–1864 гг.; была основана Ф. В. Булгариным, а в 1831–1859 гг. издавалась совместно с Н. И. Гречем; с 1860 г. газету издавал П. С. Усов.

…появление «Московского вестника». — Журнал «Московский вестник» выходил в 1827–1830 гг. Главным редактором его был М. П. Погодин, виднейшими сотрудниками — Д. В. Веневитинов, В. Ф. Одоевский, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков, Н. М. Рожалин. Короткое время участвовал в журнале Пушкин. «Московский вестник» отражал идеалистические позиции литературно-философского кружка любомудров.

…новый устав напечатан. — Речь идет о так называемом «чугунном» цензурном уставе 1826 г., он был разработан А. С. Шишковым и просуществовал до 1828 г.

В рукописи «Литературных и театральных воспоминаний» имеется первоначальный, зачеркнутый автором, более короткий вариант истории цензорской деятельности Аксакова, в котором обращают на себя внимание некоторые небезынтересные детали, отсутствующие в печатном тексте. «Устав был совершенно несовременен и стеснителен до высшей степени: при малейшей неблагонамеренности цензора бедный писатель предавался совершенно его произволу. Он имел право, даже был обязан, отыскивать тайный смысл в словах, читать между строк. Этого мало: цензор имел право запретить сочинение, если слог ему не нравился; это предписывалось под благовидным предлогом соблюдения чистоты российского языка. Само правительство признало невозможность такого устава и заменило его другим, написанным людьми просвещенными в духе законной свободы. В настоящую минуту я один остался в живых из действовавших тогда цензоров по шишковскому уставу и скажу по совести, что никто из нас не употреблял во зло своей власти, никто из сочинителей не жаловался на притеснение и даже на замедление, и никто из цензоров не получал ни одного замечания. У меня хранится бумага, подписанная всеми тогдашними московскими литераторами, журналистами, содержателями типографий и книгопродавцами; в этой бумаге заключается благодарность за успешный и свободный ход цензурного дела… Это довольно странно, дико — но это факт» (Л. Б., ф. Аксакова, III, 6б, лл. 23 об. — 24 об.).

Стр. 122. ***…я окончил перевод этого романа и напечатал.*** — Аксаковский перевод двух последних глав романа Вальтер-Скотта «Певериль де Пик» был опубликован в журнале «Русский зритель», 1829, №№ 15–16, стр. 241–262; еще один отрывок — в «Московском вестнике», 1830, № 4, стр. 338–353.

Стр. 123. ***…письмо к Погодину о значении поэзии Пушкина***. — См. т. 4 наст. изд., стр. 109.

Стр. 124. ***…одну книжку издал я.*** — Аксаков редактировал два номера «Русского зрителя» — 15 и 16 за 1829 г. На титульном

листе журнала обозначено: «№№ 15 и 16, издаваемые С. А—м за К. Ф. Калайдовича». В мае 1829 г. Петр и Иван Калайдовичи объявили на страницах «Русского зрителя» благодарность ряду литераторов, принявших на себя хлопоты по изданию и редактированию журнала. Список из одиннадцати человек открывался именем С. Т. Аксакова (ч. V, стр. 245).

Стр. 131. ***Впрочем, где-то было напечатано об этом и перевод мой назван недюжинным.*** — Действительно, в 1819 г. рецензент журнала «Благонамеренный» назвал аксаковский перевод комедии Мольера «Школа мужей» «не из числа дюжинных» и отметил, что «многие места оного заслуживают особое одобрение» («Благонамеренный», 1819, ч. 6, стр. 263).

notes

Note1

В 1813 году С. Н. Глинка напечатал книжку или брошюрку «Вера, верность и слава донцов»; она-то, вероятно, подала повод к рассказанной мною шутке.

Note2

Впоследствии оно называлось иначе, а именно: «Праху Екатерины Второй»; под сим заглавием напечатано оно в третьей части «Стихотворений Н. Шатрова», изданных в пользу его от Российской академии.

Note3

Все это я слышал тогда же от Шушерина несколько в превратном виде; но сказанное мною здесь сообщено мне из достоверных источников С. А. М. и П. И. Б.

Note4

«Матильда, или Рыцари крестовых походов». Сочинение г-жи Коттен. В брошюре «Памятник друзей Н. П. Николеву» два раза упоминается о ненапечатанной трагедии «Матильда»; вероятно, ее слышал я под названьем «Малек-Адель».

Note5

* Не отвечаю за слово «блистал». Иногда мне кажется, что вместо него стояло: «сверкал». «Малек-Адель» значит пламень битвы, так говорил мне Шатров.

Note6

По сведениям, полученным мною от почтенного С. А. М., находившегося в близких сношениях с Н. П. Николевым, все его бумаги перешли в руки Н. М. Шатрова и, вероятно, были доставлены им ближайшему наследнику.

Note7

Сочинения Николева были давно напечатаны (1795–1797); отчего подали нам рукописные — не знаю. Вероятно, это были сочинения, исправленные и дополненные самим автором.

Note8

Через восемь лет Шатров ослеп и прожил еще с лишком двадцать лет.

Note9

Кажется, это несправедливо: Н. П. Николев был вызван за свою «Сорену», в 1783 году, три представления сряду. «Памятник друзей Н. П. Николеву», стр. 21.

Note10

«Памятник друзей Николаю Петровичу Николеву», Москва. 1819 года, стр. 10.

Note11

В 1836 году С. Н. Глинка выдал книгу под названием «Записки о 1812 годе С. Г., первого ратника Московского ополчения», но в этих записках помещены далеко не все его рассказы.

Note12

Первый тогдашний книгопродавец.

Note13

Степан Федорович Мочалов, отец нашего незабвенного П. С. Мочалова.

Note14

Один только Сосницкий, в роли Фальстафа, по совету самого же кн. Шаховского, умел мастерски передразнить его на сцене; но и тут произношение было передано не совсем верно; зато весь комизм его фигуры, походка, движенье рук, все приемы и манеры и даже вся мимика лица были переданы в совершенстве. Мне рассказывали, что сам же Шаховской, восхищавшийся на репетициях искусством Сосницкого, на настоящем представлении рассердился на своего любимца и ученика и нашел его игру карикатурною. Копия была так похожа на оригинал, что в креслах поднялся хохот, послышались восклицания: «Это Шаховской, это князь Шаховской!!» и последовало такое продолжительное хлопанье, что актеры принуждены были на время остановиться в представлении пьесы. Повторяю, что я говорю слышанное мною: первого представления пиесы я не видал.

Note15

Передать речь кн. Шаховского потому невозможно, что он иногда не выговаривал буквы р, иногда с, иногда ш, а в иных случаях эти же самые буквы произносил хорошо, а коверкал совсем другие.

Note16

* Этот стих относился к двум значительным дамам, родственницам Кокошкина по покойной его жене.

Note17

Это великолепно, это превосходно (франц.).

Note18

Особой статьи я не написал; но о Писареве я довольно говорю впоследствии. (Позд. прим. сочинителя.)

Note19

Сгоревший еще при Медоксе, кажется, в 1805 году, перед началом представления первой части «Днепровской русалки».

Note20

Писарев успел написать только один акт этой комедии, который и был напечатан после его смерти, в 1830 году, в «Московском вестнике», выходившем тогда сборниками.

Note21

В генваре 1827 года, в бенефис г-жи Борисовой, Шаховской поставил новую свою пиесу под названием «Керим-Гирей, трилогия», написанную по большей части прекрасными стихами. Содержание он взял из «Бахчисарайского фонтана» Пушкина и даже местами удержал его стихи. В том же генваре, в бенефис г-жи Синецкой, он поставил комедию-балет в трех действиях, подражание Шекспиру, под названием «Батюшкина дочка, или Нашла коса на камень», и сцены: «Ермак, представление, взятое из сочинений И. И. Дмитриева». В апреле, в бенефис сирот Рыкалова, были даны в первый раз «Буря, волшебное романтическое зрелище в трех действиях, из Шекспира» и «Адвокат, или Любовь-живописец», водевиль в двух действиях, подражание Мольеру. Обе пиесы принадлежали кн. Шаховскому. В мае месяце, в бенефис двум танцовщицам, Е. Ивановой и Заборовской, нисколько не замечательным, опять были даны две пиесы кн. Шаховского: «Урок женатым», комедия в одном действии в вольных стихах, и «Бенефициант», комедия-водевиль в одном действии. В июне, в бенефис г-на Баранова, актера вовсе бесталанного, но выбранного в прошлом году кн. Шаховским для выполнения роли Казнодара Клеона в комедии «Аристофан» и каким-то чудом сыгравшего эту роль очень удачно, написал и поставил кн. Шаховской «Восковые фигуры, или Волшебная механика», интермедия-водевиль. В этом же июне, в бенефис Сабуровых, была дана новая и очень забавная комедия в одном действии кн. Шаховского «Фальстаф», заимствованная из Шекспира. В августе, в бенефис самой ничтожной актрисы Баранчеевой, игравшей наперсниц в трагедиях, кн. Шаховской поставил (конечно, из одной жалости) свою новую пиесу под названием «Привидение, или Разоренный замок». В ноябре, в бенефис Сабуровых, опять шла новая пиеса Шаховского «Молодая мать и жених в 48 лет, или Домашний спектакль», комедия-водевиль в четырех действиях, перевод с французского. Наконец, 1 декабря, в бенефис Мочалова, была дана огромная комедия в пяти действиях кн. Шаховского под названием «Судьба Ниджеля, или Все беда для несчастного», взятая из известного романа Вальтер-Скотта. Эта пиеса была точно несчастная. Она была так длинна и скучна, хотя многие отдельные сцены были прекрасны, что в четвертом действии зрители начали разъезжаться. Убедительное доказательство, что превосходный роман, облеченный в драматические формы, может быть скучен до невероятности. — Итак, вот сколько разнородных пиес написал и

поставил на сцену кн. Шаховской в один год!

Note22

Актриса была из театральной школы.

Note23

Бесплатный (лат. gratis).

Note24

Разумеется, это была часть солдат, бывших в театре: некоторым пришлось возвращаться в лагерь на Ходынке.

Note25

Девица Сабурова, воспитанница театральной школы, с прекрасным сопрано, подавала большие надежды не только как певица, но и как актриса. Она вышла потом за известного оперного актера г. Лаврова, стала редко являться на сцене и довольно скоро умерла.

Note26

В известной комической опере «Невеста» г-жа Репина превосходно играла эту роль и ясно доказала, что она могла бы быть прекрасной драматической актрисой.

Note27

Доктор говорит о том, что бы он сделал, если б имел средства продлить жизнь человеческую.

Note28

увеселительных прогулок (франц.).

Note29

Пратикабелью называется пристановочная, вырезанная декорация, представляющая отдельную избу, лестницу, дерево и т. п.

Note30

В этот год мне не удалось исполнить мое обещание. Года через два или три, именно в это число, я был в Бедрине и видел денной и ночной спектакль на открытом воздухе. Я откровенно сказал Кокошкину, что оба спектакля произвели на меня неприятное впечатление, что это та же, противная мне, театральная partie de plaisir; Кокошкин удивлялся и остался в восхищении от своей выдумки. Впрочем, кроме меня, все были довольны, и мужчины и дамы.

Note31

Это справедливо, но делается только на местах мелких.

Note32

Князь Шаховской не продолжал этой комедии и, конечно, хорошо сделал; но пролог к ней был где-то напечатан.

Note33

Предсказанию моему не суждено было осуществиться. После смерти Кокошкина Бедрино перешло в другие руки, а может быть, в третьи и в четвертые. Теперь озеро спущено: в глубине лощины течет маленький ручеек, острова осели на дно и приросли к нему, а по всему логову прежнего бассейна, в иных местах до двенадцати аршин глубиною, населенного множеством рыбы, производится изобильный сенокос.

Note34

Шаховской имел слабость придавать большую цену своим лирическим стихотворениям. В 1830 году я напечатал в «Московском вестнике» статью о заслугах кн. Шаховского в русской литературе, где, отдавая ему должную справедливость, я сказал, что лирические его стихотворения плохи. Кн. Шаховской очень осердился. Хотя поистине он должен был благодарить меня, потому что никто не говорил о нем печатно доброго слова. Статейку мою я помещаю в «Приложениях».

Note35

Кажется, она называлась по имени главного действующего лица, волшебника, вызывающего духов — «Заметти». Много каламбурили над словом «Заметти», придавая ему русское значение.

Note36

Я видел этот спектакль. Он был повторен в Москве, в доме Кокошкина, для многочисленных почитателей князя Голицына, которым не удалось быть в Рожествене. Вся эта интермедия напечатана в 1845 году г-м Араповым, но в ней сделана одна ошибка. В печати Реутов говорит: «Не плюй вербу в кашу», а он должен сказать: «Леплю вербу в кашу», что гораздо более соответствует первому стиху французского романса: «Le plus vert bocage» (Самая зеленая роща).

Note37

Писарев перевел первый том и несколько листов второго. Желая, чтобы было выполнено намерение и обещание покойного моего друга, я окончил перевод этого романа и напечатал.

Note38

Несчастная болезнь, через несколько месяцев постигшая К. Ф. Калайдовича, излечение от которой сократило его жизнь, известна всем. Говорили коротко знавшие его люди, что самая мысль издавать журнал была уже признаком умственного расстройства; но я, прежде не знавший Калайдовича, не только тогда, когда он подавал просьбу в комитет (почему и познакомился со мною), но даже впоследствии, когда он печатал первую книжку своего журнала, — я не замечал в нем ни малейшего расстройства. Прежде чем до меня достигла молва об его помешательстве, он предупредил меня сам об этой молве и с таким спокойствием, с такою ясностью и отчетливостью рассказал мне источник этого слуха, что я совершенно поверил Калайдовичу и спорил с другими, утверждавшими противное. Калайдович уверил меня, что этот слух распущен его врагами, чтоб лишить его какого-то выгодного места, им занимаемого. Но печальная истина, наконец, обнаружилась. «Русский зритель» был, однако, издаваем целый год людьми, принимавшими живое участие в его несчастном издателе: одну книжку издал я, другую — В. Н. Каразин, третью — Погодин, четвертую — Шевырев, пятую — А. Ф. Томашевский, остальных не помню.

Note39

В первый раз «Благородный театр» был дан 28 декабря 1827 года; по крайней мере так напечатано было в «Московских ведомостях»; подлинный же репертуар сгорел вместе со всем театральным архивом в последнем пожаре Петровского театра.

Note40

Дом, в котором жил Кокошкин, находится у Арбатских ворот, на углу Воздвиженки, принадлежит теперь г. Левшину. В том доме некогда жил Карамзин и писал «Историю Российского государства».

Note41

«Школа мужей» за несколько лет еще была разыграна в Петербурге, без меня, и тоже с успехом, как мне писали. Впрочем, где-то было напечатано об этом и перевод мой назван недюжинным; а правду сказать, он был тогда именно дюжинным, и комедия отчасти переложена на русские нравы, по существовавшему тогда варварскому обычаю. Разумеется, впоследствии все это было, по возможности, исправлено мною.

Note42

Он погиб, мой милый.

Note43

Извлечение из письма ко мне матери Писарева.